

ВСЕМИРНЫЕ

ОДЕССКІЯ НОВОСТИ

газета политическая, литературная, научная, общественная и коммерческая.

в клубе "Юнион"
состоится
АНОНСЪ. СОСТОИТСЯ ТОЛЬКО ОДИНЪ КОНЦЕРТЪВЪЗДѢЛЪННОЙ БИРЖИ
Въ этомъ домѣ въ страдѣСоставъ для Концертнаго Репертуара
Маріи Ивановны ДолинойГАЗЕТА ВСЕМИРНОГО КЛУБА
ОДЕССИТОВ

№ 2 (79).

Август. 2011 год.

Героической обороне Одессы 70 лет

Колонка редактора

В истории нашего города навсегда останутся 73 дня его героической обороны от фашистских захватчиков в 1941 году, семьдесят лет назад. Война началась 22-го июня, и казалось, что наступление вермахта невозможно остановить. Тогда мы еще не знали, что в окружении, в тылу врага не сдается Брестская крепость.

Написал "мы", не оговорившись. Первые мои воспоминания, пронесенные сквозь жизнь, связаны с началом Великой Отечественной войны. Отец был уже на фронте, мать работала в больнице, скоро ставшей госпиталем, я — в детском саду на Новосельской угол Тираспольской. Не думаю, что 5 августа мы узнали о директиве Ставки: "Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот", — но город с этого дня начал меняться, начали возводить оборонительные укрепления.

5 августа 1941 года были сформированы в Одессе два полка морской пехоты. Одно из первых стихотворений, которое я услышал от взрослых уже позднее, в военном эшелоне под бомбежками у Днепропетровска, были стихи Константина Симонова, написанные и опубликованные в Одессе 25 сентября 1941 года:

Защитникам Одессы

Мы в бушлатах с Черноморья
Шли, как грозный вал.
"Черной хмарой" после боя
Нас фашист назвал...
...Как рванешь в атаке ворот,
Тельник бьет в глаза,
Словно защищает город
Моря полоса.

Спустя много лет родилась чеканная формула: "Тогда лишь становится город героем, когда стал героем солдат".

Я бы добавил — и горожанин. Одесситы участвовали в оборонительных работах, в выпуске танков "На испуг", во всем, что было нужно для фронта, для победы.

Все меньше остается в живых непосредственных участников обороны Одессы. Как журналисту мне пришлось общаться со многими из них — и с вице-адмиралом И. Азаровым, и с маршалом Н. Крыловым, и с лейтенантом Яковом Бреусом. Для всех них подвиг Одессы остался незабываемой страницей жизни.

16 октября, непобежденные, уходили моряки-черноморцы, воины Приморской армии по приказу Ставки защищать Севастополь. Уходили, веря, что вернутся в Одессу. И когда 10 апреля 1944 года войска маршала Р. Малиновского, одессита, вошли в наш город, можно считать, что до конца был выполнен приказ Ставки от 5 августа 1941 года.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ.

На фото — морские пехотинцы в Одессе в сентябре 1941 года.



Я родился в Одессе в 1937 году. Четыре года, пока шла мировая война, меня в городе не было, сразу после освобождения вернулся, жил, учился и работал, пока в 1975 году не эмигрировал в США. С тех пор ни разу не приезжал, но сохранились теплые воспоминания о родном городе, где я встретил любовь всей своей жизни, где родилась моя дочь. Иногда я читаю альманах "Дерибасовская — Риме-левская". И когда я читаю знакомые названия улиц, окрестностей и имена людей, всплывает много теплых воспоминаний. Мечта моей семьи — иметь возможность что-то вернуть, посетить мой родной город.

Алекс

Приветствую вас из холодного Сочи! Пару дней тому назад на душе потеплело. Единственный концерт в Сочи дал Михаил Михайлович Жванецкий. Концерт прошел на большом парковке. Был аншлаг. М. М. был на высоте. Поднимал руку и даже где, и даже прыгал. По-моему, он был очень доволен. После концерта я зашел к нему в флипперную и поговорили накоротко.

Попрощались до встречи в Одессе. Конечно, вспомнили вас, и с большим удовольствием передаю его привет.

У нас резко похолодало, идут дожди. Ждем тепла и поездки в Одессу.

Обнимаю. Пишите.

Давид

Если вы готовите новый диск или дополнение к предыдущему, статьи о тех, кто оставил свой след в истории Одессы, мне хотелось бы послать статью о моем друге, который, по сути, явился основоположником гидрономической океанологии в Одессе и успешно продолжил свои исследования в США. Ему сделали первую операцию по пересадке сердца, с которой он прожил 15 лет. К нашему горю, ему понадобилась вторая операция, которую он не вынес. Его отлично знали одесситы, и мне бы хотелось, чтобы память о нем сохранилась на вашем диске.

Что вы думаете по этому поводу?

Всех благ.

Валер

По просьбе Людмилы Боярчук обращаюсь к вам с просьбой о помощи.

Людмила родилась в Одессе в 1939 году, отцом ее был одессит Теннадий Аксенович. Отца и дочь разлучили обстоятельства, не зависящие от любящих сердец. После войны следы Теннадия Аксеновича затерялись, известно лишь, что он умер в Одессе. Если у вас есть какие-либо сведения о Теннадии Аксеновиче, прошу вас сообщить об этом. Людмила Боярчук — инвалид, и любые сведения об отце поддержат ее в борьбе с болезнью.

С уважением,

Владимир Цогов
cogoladimir@mail.ru

Привет из Израеля!

Я являюсь членом ВКО и получил от вас членский билет. Спасибо! У меня огромная просьба: помогите связаться с Олегом Губарем. Дело в том, что в его книге "Старые дома..." упоминаются при описании Военного спуска в доме 2 мой дед Воль Юхим. Я давно пытаюсь найти данные на него и его брата Ан-кея Юхим. Но не удается узнать, где они

жили в Одессе. Может быть, мне поможет в этом Олег Губарь.

Яков Борисов
yakov2411@bezeqint.net

Добрый день!

У нас клуб расширяется. Недавно в ряды ЭКО вошла большая группа одесских студентов выпуска... этак лет 50 назад. Дамы травят анекдоты, пьют шампанское бутылками, поют одесские песни вголос. Изумительные студенточки! Скоро одна из них будет в Одессе, предугадать адрес ВКО, дабы принасть к истокам. Так я ей не откажу. А вы держитесь!

Периодически собираемся то в ресторане "Одесса", то в галерее у Оли Любаскиной.

С наилучшими пожеланиями,

Лена Наговицына,
Таллинн, Клуб одесситов (ЭКО)

Очень тронута вашим вниманием, трогательным поздравлением и великолепной откровенностью.

День Победы — это святой праздник для всех людей на Земле, как символ победы Добра над Злом, это, можно сказать, самое мощное выражение в реальной жизни идей, которые лежат в основе всех сказок всех времен и народов, где выражено это стремление людей — победить злое воинственное зло. В родной Одессе, где прошли мое детство и юность, этот праздник был и остается святым как в самом городе, так и в каждой, без исключения, семье. Ведь наш город вложил свою лепту в Победу, в сохранение уникальных достопримечательностей, облика нашего любимого города. Немало горя досталось одесситам, немало лишений выпало на их долю. Но ничто не сломило дух наших земляков, ничто не убило в их жизни значимость юмора, стремления к радости, празднику. Мое самое раннее детство выпало на послевоенные годы. И в моей памяти нет ничего, что бы позволило мне усомниться в исключительности одесситов, в их доброте, солидарности друг с другом, любви к жизни и умении ее укрывать. Лишь немногие из этих воспоминаний я подарила своей героине в романе "Презумпция виновности" (хотя роман не автобиографический) и изложила в своем эссе "Мой Мамонт-Алейхана, 40". Всегда думаю с благодарностью о вас, о вашей газете "Всемирные одесские новости", которая напечатала мое эссе и дала ему жизнь в родном городе. Когда я читаю произведения об Одессе в эмигрантской литературе (как литературный критик), меня нередко удручает, что авторам нравится смаковать ту Одессу (словес необразованного люда с местечковой ментальностью и говором), которую даже я почти не видела, уж не говоря о нынешних поколениях. Как тянет их куда-то назад, писать о той Одессе, которой уже давно нет, и о которой они сами знают понаслышке.

Одесса. Почему ее назвали именно женщиной? Ведь жену — это символ элегантности, изыска! Именно потому так называл народ нашу Одессу, потому что и она, и ее обитатели именно этим и характеризовались. Одесса — это город, обитатели которого всегда отличались (в основной массе) изыском, утонченными вкусами и требовательностью ко всему по этим критериям. Любый артист

всегда начинал свои выступления примерно с таких слов: "Я знаю, что если я пройду в Одессу, то пройду везде".

В Академгородке, куда я уехала из Одессы, выйдя замуж, где сложилась моя успешная научная карьера, мы всегда свято чтили День Победы, участвуя как в общегородских мероприятиях, так и в частных, порой интернациональных вечеринках, поскольку Академгородок всегда был одним из привлекательнейших мест для иностранных ученых. Стараемся всегда отметить этот день торжественным застольем и здесь, в США. Но я счастлива, что творческие форочки, размер которых необязательно увеличил Интернет, привели меня к участию в конкурсе в честь 60-летия Победы, проводимого московским журналом "Сенатор". С тех пор мое сотрудничество с этим замечательным изданием явилось стимулом для написания еще ряда работ, связанных с этой темой, которые принесли мне истинное удовлетворение, о котором мечтает каждый писатель. Мою работу "Преступно жить без оладки" уже несколько лет используют в ЕГЭ по русскому языку для выпускников 11 классов, а статья "С чего начинается Родина... в Америке" явилась стимулом, организующей идею для молодежных форумов на патристическую тему.

От души поздравляю вас с праздником Победы. Желаю вам радости, потому что радость — это отражение всех сторон жизни.

Ваша Лариса Матрос

Добрый день!

Я разыскиваю работы учителя Валентина Хрица, Зайцева Николая Митрофановича, 1907-1972 гг. Или любую информацию о нем и о том, где его картины можно найти. Он был членом Союза художников, жил в Одессе, там же и похоронен, его картины входили в собрание музея, — но вот какого?

Это все, что мне известно.

Если вы сможете хоть чем-то помочь, может, подскажете, куда обратиться за информацией, буду очень благодарна.

С уважением,

Ирина

Здравствуйте.

Меня зовут Ирина Владимировна Рыбальченко. Родом я из Ростова-на-Дону, но последние семь лет живу, учусь и работаю в Санкт-Петербурге. По профессии я художник-график, также работаю в области этнографической фотографии. Моя мама — родная племянница Николая Митрофановича Зайцева (ее зовут Ольга Петровна Рыбальченко, в девичестве Зайцева). С ранних лет я помню рассказы о дяде Коле, и конечно, его автопортрет. Сколько я помню себя, столько я помню его. Как бы ни менялась жизнь вокруг нас, место, люди, — всегда был этот портрет, одна из первых фотографий моей старшей сестры была на фоне этого полотна. Конечно, не специально, просто он всегда был с нами, его работа всегда была в центре нашего дома.

Я не знала его, но всегда очень любила. Любила слушать мамины юные и во многом обрывистые рассказы о нем. У нас много семейных теплых семейных воспоминаний. Он написал картину "Девочка у окна" (это, возможно, неточное название) — там изображена моя мама. Он писал много этюдов, делал наброс-

ки, и в итоге создал работу, вложив в нее всю нежность и любовь к своей маленькой племяннице. Он писал об этой картине своему брату (отцу моей матери). Я была еще совсем юной, у нас был каталог с работами Николая Митрофановича, и я долго-долго всматривалась в эту девочку (тогда я еще не знала, что это изображена моя мама).

Конечно, это все мифика, однако для меня и моей семьи она имеет немалое значение. Мы собираемся приехать в Одессу. Хотим побывать на могиле дяди, увидеть его работы, людей, которые его знали. На данный момент уже многие откликнулись с желанием и возможностью помочь. Конечно, мы хотим бы приобрести какие-либо его работы или, если это окажется невозможным, то отсканировать их. Мама является владельцем типографии и издательства. У нас есть огромное желание, и главное — возможность издать книгу об одесских художниках послевоенного времени и посвятить памяти Николая Митрофановича Зайцева.

С уважением и благодарностью,

Ирина

Добрый день Всемирному клубу одесситов.

Меня зовут Александр, я занимаюсь краеведением одного небольшого населенного пункта в Донбассе. Меня заинтересовала работа Евы Красновой и Анатолия Дроздовского "Роль земледельческих машин в судьбе Исаака Бадея", но, к сожалению, мне неизвестны никакие контакты Евы Красновой и Анатолия Дроздовского, чтобы послать письмо с вопросами и пожеланиями. Не могли бы вы, уважаемые члены Всемирного клуба одесситов, помочь мне в этом?

С уважением и надеждой,

Александр Панько

Уважаемые члены Клуба одесситов!

Обращаюсь к вам по рекомендации моего друга и режиссера Владимира Неведного. Я киновед из Москвы, меня зовут Наталья Нусинова.

В данный момент я работаю над книгой о Леониде Захаровиче Пляуберге — он был родом из Одессы, как вам, конечно, известно. Внучка Л.З. Пляуберга, Мария Чепайтис, порекомендовала мне обратиться к известному исторiku и краеведу вашего замечательного города Евгению Толубовскому. Когда-то они общались и переписывались, но, к сожалению, у нее не сохранилось его координат. Не можете ли вы помочь разыскать его электронный адрес или телефон? Не подскажете ли, со своей стороны, в какие архивы вашего города или к каким людям мне следует обратиться в поисках информации по истории семьи Пляубергов и Ланде (Вера Николаевна Ланде была женой Л. З. П., она также одесситка)?

С наилучшими чувствами,

Наталья Нусинова
natasha5n@yandex.ru

Мамонт!

Это Виктор из Университета Бен-Гуриона в Негеве. Хочу обратить ваше внимание на генеральный роман Зеева Жаботинского "Пятно". Это готовый киносценарий — настолько вышло в нем прописан видеоряд. В руках мастера это гарантированная 100%-ная нетленка на тему жизни евреев Одессы начала века.

О Мише Каце

Было уже после одиннадцати вечера, когда мне позвонили из Одессы. Звонок из прошлого, да еще в ночное время, никак не вписывался в привычную рутину отхода ко сну. Знал ли я Мишу Каца? Безусловно, но почему знал? Он умер... И он?

Мишка был одним из самых близких мне единомышленников среди сотрудников Одесской студии телевидения. Каким образом этот молодой неопытный художник с далеко не популярной фамилией был принят в недавно созданную идеологическую организацию, остается загадкой, но не единство пятой графы привлекало меня в нем. Миша был безусловно талантливым, любопытным и работоспособным.

То было далекое уже время начала шестидесятых годов прошлого века (!). Студия телевидения получила уголок на третьей станции Фонтана, и никто толком не знал, какими должно быть телевидение. Руководить студией поручили местному комитету по радиовещанию, и те с энтузиазмом начали формировать редакцию на манер руководящего комитета. Но был еще и экран, небольшой тогда, черно-белый, но привлекательный. Пришлось приглашать еще и режиссеров, художников, звуковиков... У меня в то время было уже четыре года опыта работы на Одесской студии художественных фильмов, и я вошел в группу сторонников киноизображения, с которыми конкурировали специалисты радиовещания.

Миша любил кино. Это я заметил при первой же работе

с ним. Он обладал природным чувством композиции, безудержностью фантазии и настойчивостью интеллекта. И он понимал не имел, "как это делается". В то время, когда я подмывал узнать Мишу Каца, у нас уже сложились довольно устойчивая группа энтузиастов кино, и мы начали предлагать руководству довольно рискованные кинопроекты. Дело в том, что бюджет каждого планируемого фильма был значительно ниже необходимого и исключал создание декораций, пошив костюмов, бутафорию, осветителей, профессиональных сценаристов и даже актеров.

Именно в таких условиях мы начали пробовать утверждение сценария полнометражного музыкального фильма по известной поэме С. Маршака "Мистер Твистер". Миша Кац был принят в группу на должность художника-постановщика. Он же был художником по костюмам, он же был бутафором, маляром и творческим консультантом. Миша ликовал. Это была его первая серьезная работа в кино и, забегая вперед, замечу, что испытание он выдержал с честью. Он умел и хотел делать все. Его эскизы к костюмам были сделаны рукой мастера, но, к сожалению, осуществить их не удалось. Скупость бюджета лишилась фантазии. Наскорю кастировали сценарий, исчезли целые эпизоды, банальность предлагалась взамен творчества.

Фильм отобрали для специального показа в Союзе кинематографистов, и Мишке аплодировали. Потом нашу работу представляли на всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Таллинне. Нет, фильм не получил первой премии, но был

тайком увезен на таллинское телевидение, где был показан вне программы зрителей. Представители ленинградского телевидения извлекли немедленную готовность к организации официальной премьеры фильма, то же предлагали ереванцы и грузины. На украинском телевидении премьеры не было.

Я был на год подвергнут остракизму. Просто меня лишили возможности работать. А Мишу вернули в цех художников, рисовать заставки к передачам. Больше я с ним не работал. Собственно, я вообще ни с кем не работал. Через год просто я ушел из студии. Еще через год эмигрировал.

А "Твистера" вместе с другими моими фильмами сожгли примерно в железной бочке. Не только позитивы, но и негативы, чтобы духом не пахло. И я знал, каким.

Дело в том, что при всем моем желании кинематографистами Маршака, ее жало оборачивались в обратную сторону. Однако до перемен было еще далеко, и подобное проявление свободомыслия пресекалось на манер средневековья.

Через тридцать лет я посетил Одессу. На встречу со мной пришли пять человек. Остальных уже просто не было. Разговаривая ночью с Мариной, я узнал, что у Мишки Каца взрослый сын, что память о нем жива, и сожженный "Твистер" стучится в сердца людей.

Карина, спасибо вам огромное за звонок. За память. За Мишу, талантливого и настойчивого. Уверен, что третья попытка принесла ему много радости.

Давид ШАПОШНИКОВ

Александр ДОРОШЕНКО СТЕНЫ

Мои дворовые друзья. Мы ведь росли вместе, во всем одинаково, — в еде, в одежде, в дороге, которой мы шли в свою школу, в лицах учителей, в наборе слов... Птицы летали те же, и кошки бегали так же, и так же над головами нашими куда-то стремительно неслись облака... Наш мир, нам дарованный мир, был только что создан, прямо с иголочки, вымыт и чист, приготовлен для праздника, и мы в этот громадный необозримостью праздничный зал были введены за руку, и я уверен, это рука Бога вела нас...

Но незаметно наступили дни, наступил год, и дальше прошли немногие годы, в которых мы постепенно разошлись и пошли разными дорогами.

Вроде бы ничего не изменилось — оставались теми же улицы и подворотни, те же деревья проходили мимо нас, меняя убор по сезону, те же события происходили, со мной и с ними, с нами, — в стране и в мире. Пришло радио в пору нашего детства, потом его вытеснил телевизор. Вроде бы те же самые темы передач, разговоров, уличных и дворовых.

Но у дороги, которой мы шли, на которой смеялись вместе и огорчались вместе, появился незаметный вначале отросток, узкой тропинкой, ведущей чуть в сторону, и мы долго еще продолжали идти рядом, видя друг друга, играя вместе в футбол, вместе казёна на массиве у Ланжерона...

Только я уже шел по этой тропинке, и она все расширялась и расширялась. Я слышал шаги идущих впереди меня, тогда еще — впереди. Я их не видел, но слышал шаги и голоса так отчетливо... Это были спокойные голоса, ровные и полные странной силы, и утратить их, перестать слышать, я уже не мог.

В руках у меня теперь появилась книжка. Так себе, почитать. Потом другая. Потом они стали меня сопровождать постоянно. И в Зеленом садике, наигравшись, я теперь искал для себя тихую скрытую кустами полянку, — чтобы почитать в тишине.

Робинзона на острове, Гулливера среди умных лошадей, мистера Пиквика на дорогах прелестной и неведомой Англии...

Англия эта, она была моей и мистера Пиквика, и Сэма Уэллера... и никакие англичане к ней никакого отношения не имели. Я тогда это понял, и знаю сегодня. Но тогда это было понято кровью, не умом, нет, ведь самое основное мы понимаем сразу, без научения, — кровью. И какие в этой Англии были режимы, почему люди делились на хозяев и слуг, меня это не занимало вовсе, — тогда, мальчишкой, без объяснений взрослых и разъяснений, я понял, что главное в нас, основное, совсем не в этом. Главное неизбежно, что у Одиссея, что у меня. Его, постаревшего, вернувшегося домой, никем не узнавшего, узнал только старый пес — и лизнул на прощание в руку. Так и меня знали, любили и, конечно же, всегда и в любом облике узнали бы мои верные дворовые псы. Главное в нас неизменно, если оно в нас есть, главное. Изменяется только чепуха. Например, фрак, который надевают на бал, или слово "сэр" как обращение друг к другу, хозяина к слуге и слуги к хозяину. У нас обращались словами "мужчина" и "женщина", как на страницах Библии Бог обозначил первых людей.

Буратино прошел по боковой дорожке, и никто из ребят его не увидел, но я слышал его негромкий звенящий смех и, подождав, когда ребята скроются за поворотом, потихоньку отстал и пошел по боковой этой аллее, оглядываясь и ища Буратино, длинноногого мальчишку, обрадованными глазами...

А у ребят моих, дворовых, и с соседних дворов, и по школе приятелей, странным образом ничего не изменялось, и все оставалось таким, как было. Как было остановлено, на бегу, кем-то или чем-то. И все сияющее многоцветие, нарядный ковер жизни, брошенный к нашим ногам, и окруживший нас красотой деревьев, как колоннами храма, и давший нам глубину бесконечного неба, и все эти звезды для них, моих сверстников и друзей, постепенно поблекли...

Вся красочность первозданного мира, она начала на их глазах блекнуть и увядать. Пелена какая-то покрыла яркие краски мира...

Было странное чувство, как если бы я оставался один зрячим, а зрение остальных помутилось и стало мутнеть очень быстро...

И жизнь, яркая многоцветная жизнь, стала терять цвета... Они вытирались, как на яркой когда-то ткани, превращенной от старости в половую тряпку... Брошенную под ноги, на пороге, и когда вытираешь подошвы, можно еще рассмотреть чудный когда-то узор рисунка...

Как быстро исчерпывается, как быстро заканчивается праздник жизни. Вот накрытый стол, нарядный и праздничный, и вот на нем остались только обеды.

Как быстро, Господи, как страшно! Любовь, так волновавшая душу, манившая чудными таинствами, когда улыбка дворовой подружки становится странно лукавой... когда глаза ее излучают свет, отражением неба... когда слова ее окрашиваются неведомой тайной... когда тебе не хватает воздуха в груди и слов не хватает, чтобы ответить на такие привычные, на такие обыденные ее слова...

Тайна любви, выродившаяся в ерунду прикосновений и зажиманий... в трение животных друг о друга... выраженная в повизгивании пороссячем и в грязных словах после... об этом... таком простым и доступном, как пирожок с горохом, купленный у уличной торговки, бабы Клавды, на нашем углу Михайловской и Дальницкой улиц, вкусный необычайно, но там много еще таких пирожков у нее в корзине, укутанных тряпкой, не вполне чистой, но теплой, чтобы не остывали, на каждый день... недорогих и вкусных...

В поступках грязных и в похвальбе грязью... И не видеть при этом, как стираются краски жизни, как гаснет ее живая радость, превращаясь в обыденность и пустоту...

В отходы пищеварительного бытия, в жвачку...

Помню, в подворотне нашего дома стоим мы, подростками, и рассматриваем картинку, об этом, голую картинку, с двумя, мужичиной и женщиной, и смех наш помню, еще застенчивый и неловкий, — может быть, это произошло тогда? Помню, это случилось под вечер, были теплыми вечерние сумерки, и солнце садилось за крышу дома на другой стороне Михайловской улицы, красное солнце, грозившее обернуться непогодой с дождем. Может быть, я не умел понять и расслышать, и это были не грязные слова, и не ругательства вовсе, которыми мы это все называли, а горечь слез о подлой подмене, об обещанном и так и не сбывшемся?

Это жалобы были, и они, еще дети, мои приятели и подружки, жалуясь, не знали, кто и в чем, и за что их так обделил и обидел.

Человек потратил тысячелетия, чтобы установить на возвышении свою душу, чтобы освободить ее от тяжести пищеварительного бытия... чтобы дать расцвести дереву жизни...

А все оказалось так просто, так обыденно, так легко и полностью исчерпаемо...

Но ко мне, слышащему и видящему это, пришла поэзия, пришла романтика чувства, болью потери и радостью встречи... Что-то во мне плакало, что-то не позволяло вот так втоптать, исчерпать, размазать...

(Много позже я прочел, о чем уже знал и сам, что зверь после соития бывает печален, а у Венички Ерофеева я прочел, что бывает печален и перед, и у Андрея Платонова прочел обжегшие мне сердце слова, что когда это с человеком происходит впервые, что-то жалобно плачет под самым его сердцем, плачет неутешно и горько, как ребенок, потерявший самое-самое дорогое, и вот он не может вспомнить, что это было такое... даже просто припомнить...)

Это называется подмена, наглый обман, пустышка...

А все ведь было так просто, как быстро поняли и как стремительно исчерпали эту хитрую науку мои дворовые кореша...

Они мне были как братья, такие же, в этом и в том, в друзьях и врагах, на бегу и смехе, в мяче и в стреле из лука, в юле и скалке... в прыжках в очередь на массиве у Ланжерона, когда с перерывами на секунды, грозя налететь друг на друга, мы прыгали с крайней плиты в море, смеясь и выныривая из глубины, как молодые дельфины... в бутерброде, ровно поделенном на всех...

Но что-то такое, стена стала вырастать между нами, камень по камню, кирпич на кирпич, — непроницаемая, непроходимая стена...

И вот я уже не могу поделиться лучшим, что волнует меня, что тревожит меня и пугает, — глупостями, которые они уже все исчерпали... И я знаю, хотя мне никто не пояснял, просто знаю, — с ними, моими вчерашними друзьями, об этом и этими словами уже говорить невозможно... Не следует даже пытаться сказать...

(Самое главное и важное, что понимаешь в жизни, понимаешь не по объяснению взрослых, но сам, в тишине, оно неосознанно входит в твою кровь, понимание, без формулировок и предписаний, и ты строишь себя сам, без подсказок, — ты строишь себя и знаешь, это тоже без книжных и любых

иных объяснений, — никто это сделать не может, помимо тебя, и еще знаешь — те, кто помогает тебе в этом простом и ясном деле, только мешают, путаясь под ногами, например, потому что идут они медленно, прямо сказать, не идут, а плетутся, а ты бежишь, разве что оглядываясь на них, пробегаемых мимо!

Это как в кино, когда на экране в пожарной нашей части крутили Чапаева, и шел поезд, страшной быстротой крутил он свои колеса, пускал дым из трубы и кричал, пронзительно и надрывно, а ты, мальчишка, лежащий в первом ряду, — нас пускали с таким условием, мест было мало, и можно было только лежать на полу перед первым рядом, — знаешь, что поезд этот бежит из ниоткуда в никуда, что вылетел он из черной пустоты предэкранной и, пролетев экран, упал и сгинул в пустоте мира...

А ты остался, и когда выйдешь после фильма на нашу Михайловскую улицу, пойдешь не направо, в наш, соседний дом, но налево, и кругом обойдешь квартал, а поезд будет бежать за тобой, вылетать из-за спины и убежать с искрами от колес и рельсов за следующий угол поворота, и никуда он потеряться не сможет, так и будет бежать за тобой, собачкой, боящейся потеряться, потому что бежит он, только пока ты о нем думаешь и его помнишь...

Как и весь мир, все в нем происходящее живет и крутится лентой фильмом, только тогда и только до тех пор, пока ты о нем помнишь...)

Еще десяток лет водки, еще десяток грязных немых девиц, еще несколько десятков куражей с похвальбой...

И — синюшные лица, спитые, и — погасшие глаза, и — неровная походка...

Так случилось в моем детстве с моими дворовыми друзьями. И с ребятами из соседних домов, с седьмого номера по Михайловской улице, это дальше к Дальницкой от

нас, и с площади, я позабыл номер этого дома, а его успели снести, — в этих дворах жили мои кореша...

Так это происходит сегодня.

И это странно — ведь особенно многоцветен, манящ и загадочен мир всяких теле- и кинопрограмм, так много ярких цветов во всем — в одежде и в...

Так много нового и непривычного в поведении...

Так доступно сегодня стало многое — целоваться на улице, прилюдно, в толпе...

Почему же оно тускнеет?!

Так быстро и так непоправимо?

Почему мир, в который мы влили множество новых синтезированных наукой красок, небываемо ярких, о которых даже Господь в дни творенья не знал и не мог себе такого представить, — почему этот мир утрачивает краски, и чем быстрее мы его раскрашиваем кисточкой и распылителями, тем быстрее они гаснут на наших глазах?

А мы все подмешиваем новые яркие краски...

И плачет что-то в них, веселых и молодых, таких беззаботных. Плачет и не может утешиться, как плачет спрятавшийся от всех незаслуженно обиженный ребенок.

*"Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви,
Мелькнут твои молодые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои.*

*И жизнь твоя пройдет незрима
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле".*

Федор Тютчев



Фото Евгения Волокина

Олег ГУБАРЬ ОДЕССКИЙ ПРИЯТЕЛЬ ПУШКИНА ПО ИМЕНИ САМУИЛ

(ЭТОТ ТЕКСТ НЕ БЫЛ ВКЛЮЧЕН В 1-Й ТОМ "ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЗАБЫТЫХ ОДЕССИТОВ")

Если хорошенько ознакомиться с реестром одесского окружения Пушкина, тотчас бросается в глаза тот факт, что эта как бы случайная выборка имен корректно репрезентует тогдашний этнический и до известной степени — социальный состав горожан. В самом деле, представители российского нобилитета — Воронцовы, Нарышкины, Киселевы, Бутурлин и т. д.; польская шляхта — Потоцкие, Собанские, Понятовский и пр.; остзейские дворяне — Брунов, Франк; французская аристократия — Ланжерон, Сен-При, Гамба и др.; этнически пестрый чиновничий мир — от Палена, Бера, Зонтага и до Писаренко; образованные негодяны — Ризнич, Рено, Сикар, Монтандон; представители сферы обслуживания — Отон, Пфейфер, Коллен и т. д.; а также — солисты и солистки итальянской оперы, "погибшие, но милые создания" и прочие экзотические знакомства, вплоть до "корсара в отставке Морали".

Помимо представителей всех стран Средиземноморья (что типично для любого левантийского порта), мы видим, например, раритетных в этом регионе англичан, голландцев, и даже одного американца. Странно, может заметить кто-нибудь, что нет в этом списке ни одного еврея. И тем более странно, что численность еврейского населения в 1820-е годы была довольно значительной. Вероятно, прибавят, это еще одна иллюстрация характерной для Пушкина неприязни.

Согласиться с такой трактовкой едва ли справедливо, ибо интерпретаторы, как обычно, переносят современную психологию в отдаленное прошлое. Сложившееся же в российской аристократической среде неприязненное отношение к евреям (мы говорим о самых первых десятилетиях позапрошлого века) — следствие специфической социальной разобщенности. Нобилитету просто-напросто фактически и не приходилось общаться с евреями, ограниченными в правах, в том числе — в праве проживания на той или иной территории. В обеих столицах практически отсутствовало образованное еврейство, и общее впечатление о национальных особенностях евреев складывалось чудовищно гипертрофированное, необъективное, что было неизбежно.

Юг России представлял совершенно иную этническую картину. Оказавшись здесь и непредвзято оценив ситуацию, даже иные заядлые национал-патриоты в корне пересматривали свои позиции. И в этом смысле очень характерна эволюция подобных воззрений долго проживавшей в Одессе (в начале 1830-х годов) литераторши К.А. Авдеевой. "Да позволено будет мне сказать свое мнение об евреях, — пишет она. — Вообще мы привыкли почитать их самыми дурными людьми. Живши два года в Одессе, нельзя было не иметь с ними сношений, и скажу откровенно, я всегда оставалась ими довольна. Правда, что еврей не упустит из вида своей выгоды, но кто же ее и упускает? Зато какая неутомимость, какое проворство у еврея! И если он уверен, что заслуга его не пропадет даром, он все выполнит вам с возможной точностью и, надобно прибавить, ЧЕСТНО".

Вторит ей и писатель М.Б. Чистяков (какого уж никак не заподозришь в апологетике еврейства), посетивший Одессу на завершающей стадии эпохи порто-франко, в 1850-х. В сборнике путевых заметок "Из поездок по России", изданном в Санкт-Петербурге, он, в частности, повествует об очень высоких заработках наемных рабочих Южной Пальмиры — сравнительно с доходами их коллег в других местностях империи. И прибавляет: "Из этого хорошего жалованья, однако ж, редко который скапливает себе что-нибудь; по большей части все идет на водку и на пирушки. Не только русские мастеравые, но и немцы и другие иностранцы очень скоро спиваются с кругу. Евреи со-

ставляют блистательное исключение; между ними находят лучших работников, самых смелых, ловких и трезвых, поэтому во многих случаях еврея предпочитают русским и немцам".

Короче говоря, Одесса позитивно трансформировала опыт (которого реально-то у россиян почти и не было!) межнационального общения, способствовала, так сказать, смягчению консервативных нравов патриархального дворянства. Здесь уместно сказать и об эволюции собственно пушкинского мировоззрения на одесском эмпирическом материале. Я имею в виду его маршрут к коммерциализации литературного труда. Да, "приморская Гоморра" располагала к некоторому прагматизму, навевала мысль о том, что литературная продукция — такой же товар, как и иной прочий. А главное, внушала, что самый процесс подобной покупки-продажи отнюдь не аморален, а напротив, — вполне достойное дело.

Вспомним еще, что наиболее приемлемым кругом общения для Пушкина служил как раз круг просвещенных негодянов. Если учесть, что бродские евреи (выходцы из города Броды и вообще из Австрии) играли в Одессе чрезвычайно значимую роль еще со времен "континентальной блокады" конца 1800-х, становится очевидным, что и они внесли свою лепту в формирование "коммерческого характера" ссыльного диссидента. И в этих условиях он просто не мог не переменить своего отношения к дотоле презираемым "факторам", — поскольку и сам "давал в рост" свой поэтический капитал и получал соответствующие дивиденды. Да, можно (и нужно!) рукопись продать. А чтобы логика подобных размышлений не показалась притянутой за уши, я и хочу лаконично рассказать об одном показательном одесском знакомстве Пушкина.

Речь пойдет об австрийском консуле фон Томе. Сведения по этому примечательному персонажу местных летописей всегда были довольно скудными и перекоачивались из одного издания в другое. Со времен издания "Одесского словаря пушкинских знакомых" знаменитого впоследствии литературоведа М.П. Алексеева (1927 год) решительно ничего нового о фон Томе не написано. В "Словаре" же препарировано большинство имевшихся тогда в наличии библиографических первоисточников, включая мемуары Рошешуара, Лагарда, Липранди, Бутурлина и проч. Суммарно же складывается впечатление, будто фон Том — венгр, сын губернатора одной из австрийских провинций на границе с Турцией, что он служил австрийским консулом в Одессе "уже в 1804 г. и еще в 1833 г.". Информация эта, как мы увидим ниже, действительности не соответствует.

Вместе с тем, современники вполне живо и, судя по всему, объективно рисуют портрет этого замечательного одесского старожила — ближайшего сподвижника Ришелье, Кобле, Ланжерона. Большой охотник до веселых розыгрышей (как теперь сказали бы, "приколов"), фирменных анекдотов, каламбуров, эпиграмм, подлинный эпикуреец, фон Том нискал себе славу души компании, заводилы, тамады. Оставаясь таким до самой своей кончины, австрийский консул обожал принимать в своем доме друзей и сам бывал неизменным участником всех светских раутов, застолий, маскарадов, балов, домашних спектаклей и прочих увеселений. Оптимизм его простирался так далеко, что в дни свирепой чумной эпидемии 1811-1812 годов он, по свидетельству Лагарда, первым в городе отворил двери своего дома для гостей, "по-философски решив умереть лучше от чумы, нежели от скуки".

Салонное времяпрепровождение ришельевской эпохи описано А.А. Скалковским на примере журфикса в доме одного из одесских негодянов (надо полагать, у Шарля Сикара). Присутствовали Ришелье, Кобле, Рошешуар, Растиньяк, фон Том, известный банкир барон Штиглиц и другие обитатели провинциального олимпа. Кавалеров, разумеется, сопровождали дамы света — Аркудинская, Коб-

ле, Кастилио (в девичестве — Бларамберг), Трегубова-первая, Трегубова-вторая и др. Основная забава вечера заключалась в составлении весьма смелых эпиграмм друг на друга, и среди присутствующих, конечно, не было равных австрийскому консулу, чувствовавшему себя как рыба в воде.

На подобных посиделках и рождались искристые "фон-томовские" каламбуры, остроты, притчи, веселившие потом весь город и даже достигавшие обеих столиц. Характерный пример сказанному приводит занимавшийся в Одессе устройством новой черты порто-франко граф А.И. Рибопьер (1781-1865). В своих мемуарах граф так описывает реакцию фон Тома на адюльтер генеральши Лехнер и барона Брунова — будущего российского посланника в Лондоне, также пушкинского знакомого. У госпожи Лехнер был "дурной шведский выговор", и в ее устах фамилия барона звучала как "Пруноу", то есть "чернослив". Имея в виду означенное обстоятельство, австрийский консул провозглашал юмористическую проповедь: будущая баронесса, резюмировал он, читала Библию и знает, что яблоко было плодом запретным, но, видимо, не распознала, что чернослив (пруноу) — плод тоже не-дозволенный.

Более известна другая история, а именно та, что связана с самими обстоятельствами личного знакомства фон Тома и Пушкина. Как вспоминает И.П. Липранди, Пушкин, по своему обыкновению, посетил очередной званый обед у четы Сикаров, где всегда поддерживалась на редкость непринужденная обстановка, дозволялись и даже поощрялись всевозможные выходы — разумеется, в рамках светских приличий. Здесь обсуждали любые новости, включая изменение цен на зерно и альковные похождения солисток итальянской оперы, положение единоверцев на Балканах и модные туалеты, с одинаковым любопытством принимали как серьезную проблему, так и свежую рискованную шутку. На одной из подобных вечеринок фон Том рассказывал забавный охотничий анекдот, а не знакомый с ним лично Пушкин пошутил: "Который том: первый, второй или третий?". По-настоящему остро эту можно оценить, если знать, что у Тома было два сына, примерно одних с Пушкиным лет...

Годившийся "диссиденту" в отцы, старина Том нисколько не обиделся — он не только сам умел каламбурить, но понимал и принимал остроты, адресованные ему самому. Смущенный Пушкин подошел к почтенному консулу с извинениями, однако встретил такое дружеское участие, какого не ожидал. Несмотря на солидную разницу в возрасте, они стали добрыми приятелями, поэт потянулся к уникальному добряку и жизнелюбу. Сохранились вполне определенные достоверные свидетельства их взаимной симпатии, приятельских, дружеских отношений. Так, мемуаристы повествуют о том, как Пушкин гостил на хуторе фон Тома в Дальнике. Один из проведенных там дней детально описан Ф.Ф. Вигелем. Несомненно, посещал Пушкин и городской дом австрийского консула, находившийся в самом центре, на пересечении современной Преображенской и Малого (тогда — Казарменного!) переулка — на этом месте в конце 1930-х выстроен дом для работников морского транспорта. Собственно говоря, в 1820-х тут был целый комплекс довольно солидных строений.

Кое-что известно даже о внешнем облике нашего героя. Так, вспоминая наиболее яркие эпизоды детства, племянник основателя Одессы, М.Ф. Дерибас, пишет: "В глубине комнаты замечаю многих незнакомых мне лиц в блестящих мундирах. Один из них, в красном мундире, более всех прочих поразил меня (это был австрийский консул фон Том)". Известно также, что добрейшей души человек, фон Том часто приходил на помощь горожанам, оказавшимся в затруднительной ситуации. В те годы, например, возникали сложности с получением загранпаспор-

тов, и тогда австрийский консул оказывал бескорыстное содействие многим. А между тем такое его "легкомысленное поведение" осуждалось в "высочайшем замечании одесскому градоначальнику А.Д. Гурьеву".

Казалось бы, мы так много знаем о фон Томе: ведь далеко не каждый, даже куда более масштабный исторический персонаж оставил по себе столько документальных свидетельств. И вопреки этой обманчивой очевидности, мы не знаем о нем почти ничего. Сколько архивных документов пушкинской эпохи в свое время прошло через мои руки! И представьте, ни в одном из них не упоминается даже имя австрийского консула! В чем же тут дело?

Анализируя различные материалы, я пришел к заключению, что не только пушкинский каламбур, но сама жизнь "перепутала все тома". Разыскания показали, что дело отца со временем оказалось в руках сына, исполнявшего обязанности австрийского консула в Одессе в 1834-1845 годах. И вот это как раз и был ВТОРОЙ ТОМ. Имя этого Тома известно — Карл. В одном из старых справочников как бы открылось и отчество: Самойлович или Самфилович. Странное, прямо скажем, имя для австрийского дворянина...

О чем я в течение многих лет мечтал, так это о том, чтобы получить доступ к ретроспективной консульской переписке из архива МИД Австрии. Грезить мне, естественно, никто не возбранял. И все же чудеса случаются. Возможность достучаться до австрийской столицы открылась неожиданно (а о наличии там кое-каких "одесских реляций", составленных фон Томом, говорила моя дорогая подруга Патрисия Херлихи — автор единственной, по сути, монографии по истории нашего города, 1794-1914). Помочь вызвалась другая моя замечательная подруга — Сюзанна Накатен, блестящий историк из Трира. В результате всевозможных приключений удалось получить любопытнейшую информацию, позволяющую основательно дополнить живыми красками портрет нашего славного одесского балагура, окончательно с ним "разобраться".

Начнем с печального. Интересующая нас консульская переписка в полном объеме в Вене не обнаружена. Суть дела в том, что в лихорадке первой мировой и гражданской войн австрийское консульство в Одессе не было ликвидировано, так сказать, регулярно. Где теперь находится его архив, неведомо, хотя не исключено, что какая-то часть могла оказаться в одном из центральных архивов — скажем, архиве МИД СССР. Зато в Вене имеется целый ряд документов, с одной стороны, характеризующих фон Тома как личность, а с другой — прямо относящихся к исполнению им консульских обязанностей. Вторая часть этого корпуса документов, несомненно, преинтересна, ибо дает срез истории Одессы на протяжении более четверти века: с 1804 по 1830 годы. Но это тема отдельного обстоятельного разговора, а сейчас нас занимает скорее феномен личности "подозреваемого", или "подзащитного" — как хотите...

Главным консультантом Сюзанны Накатен в Венском архиве был доктор Эрнст Петрич — не только великолепный специалист, но и обаятельный, любезный, готовый оказать содействие человек. Итак, архивные документы свидетельствуют: Христиан Самуил фон Том был "привилегированным в Вене оптовиком". Вместе с братом, Андреасом Готтлибом фон Томом, они удостоились рыцарства, то есть дворянства, в 1789 году. Фон Том был консулом сначала в Херсоне, а с 1804 года — в Одессе. В 1816 году награжден рыцарским крестом Леопольдского Ордена. Ушел в отставку, так сказать, по собственному желанию в 1830 году, а скончался в Одессе 1 января 1840-го. Карл фон Том наследовал отцу в 1834-м, а прежде служил консульским канцлером. В 1830-1834 годах в Одессе консультировал Казимир фон Тимони.

Что же кроется за этими сухими строками? Мои слишком смелые предположения полностью подтверждены и обоснованы немецким и австрийскими специалистами. Многие карты раскрывают то обстоятельство, что фон Томы не зафиксированы

в "каталогах" австрийского дворянства. Таким образом, пишет Сюзанна, "семья не была дворянского происхождения; они стали "достойными" при дворе только в год французской революции и получили рыцарское звание. Более того, у них "говорящие имена", иллюстрирующие еврейское происхождение, — Самуил и Готтлиб, то есть Еммануил". "Лояльные имена — Христиан и Андреас — приписаны по необходимости, — свидетельствует Эрнст Петрич, — иначе они никогда не сделали бы карьеры в католической Вене, в особенности карьеры дипломатической".

Теперь понятно, почему фон Том никогда не подписывал деловые бумаги своим полным именем: во-первых, не мог афишировать своего происхождения в пределах России, а во-вторых, искренне не желал быть самозванцем, то есть носить "новодельное" имя (вспомним, что сын его все же носил подлинное отчество, хотя и несколько русифицированное). Мало того, мозаика первоисточников позволяет видеть, что австрийский дипломат до конца своих дней оставался приверженцем веры отцов и покровителем своих единоверцев. Так, много места в корреспонденциях фон Тома из Одессы занимают разнообразные "еврейские сюжеты", скажем, обширная переписка о негодянте Хаиме Горохове. Этот еврейский коммерсант пожелал покинуть галицийские Броды и открыть торговлю в Одессе, однако венский двор почему-то препятствовал осуществлению этого намерения. Власть отказывали ему в выдаче паспорта, не разрешали пересекать границу. В этом и многих других случаях Том вступался за еврейских купцов, причем всегда мотивировал тем, что сомнительные политические принципы должны уступать место взаимовыгодным межгосударственным отношениям.

Мои зарубежные коллеги подчеркивают, что, несмотря на "сомнительное происхождение", император высоко ценил Самуила фон Тома. Скажем, в 1804 году немало объявилось охотников, желающих консультировать в Одессе, в том числе — именитых, однако предпочтение было все же отдано "нуворишу". Мало того — и это весьма показательно! — ему было дозволено СОВМЕЩАТЬ ОТВЕТСТВЕННУЮ СЛУЖБУ С АКТИВНЫМИ КОММЕРЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ. Как было сказано, его наградили высшим орденом, а когда он пожелал уйти со службы, его ходатайство удовлетворили без проблем. Что до старшего сына, Карла, служившего при отце с 1818 года, он добился должности уже не так просто: обращение к императору о повышении в чине последовало в 1832 году, а удовлетворено лишь два года спустя.

"Вот репрезентативная личность, — говорит Сюзанна Накатен о Самуиле фон Томе, — идеально подходящая для жизни в расцветающей Одессе, не так ли?" В самом деле, фон Том превосходно вписывался в историко-бытовой пейзаж стремительно прогрессирующего приморского торжища! Именно с его легкой руки бродские евреи заняли достойное место в городе и регионе, способствовали тому, что о едва нарождавшемся в голой степи городке заговорили по всей Европе. Сохранились архивные материалы (я ознакомился с такого рода документами и в Государственном архиве Одесской области) о содействии фон Тома расселению сотен семей из Австрии на территории между Херсоном и Одессой. Обратим внимание на то, что означенные мигранты были людьми довольно состоятельными и, таким образом, инвестировали торговлю России со странами Южной Европы и Востока. Был таким инвестором и сам австрийский консул.

Вот, оказывается, какой интересный знакомец был у Пушкина в Одессе. Знакомец, несомненно, сыгравший определенную роль в изменении некоторых житейских подходов "коллежского секретаря", пришедшего в итоге к идее коммерциализации литературного труда и "Разговору книгопродавца с поэтом".

...Основываясь на архивных данных, выдающийся историк Одессы К.Н. Смольянинов утверждает, что самым первым печатным текстом, изданным в городе, были СТИХИ — сонет в честь примадонны итальянской оперной труппы Густавины Замбони. Подписан же этот мадригал криптонимом "F. T.". Предполагается, что автор — это наш герой. Так непредсказуемо соседствуют в исторических хрониках Одессы два разных поэта, два добрых приятеля — Александр Пушкин и Самуил фон Том.

Хижина дяди... Бейзерта

1 июня 1926 г. в газете "Известия одесского окружкома КП(б)У, окружкома и ОПБ" был напечатан фельетон "Хижина дяди... Бейзерта" известного одесского журналиста Бориса Давидовича Флита, который в старые времена подписывался псевдонимом Незнакомец, в советские — Д. Маллори, и остался в романе И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" под псевдонимами соответственно Принц Датский и Маховик. Принято считать, что газета живет один день. Но, как изъяснялись в старину, ласкаю себя надеждой, что нынешняя публикация фельетона несколько продлит и этот день и память о людях, достойных памяти.

Ростислав АЛЕКСАНДРОВ



Борис Флит (Д. Маллори)

"А я люблю негритянок", — говорил персонаж Л. Андреева. (1)

Дело вкуса. Это было во времена общественного упадка, поисков экзотики и эмпирики. Но почему теперь в Советской стране столь возлюбили "шоколадных ребят", хоть убейте, не понимаю! "А я люблю негритянок!" — это, конечно, болезнь.

Но "А мы любим негров и джаз-банд", это уже — извините — эпидемия!

"Хижина дяди Бейзерта" в Воронцовском саду полна звуков негритянских джазбандов и фокстротов. (2)

Хорошо это или плохо, — об этом скажут рецензенты.

Мнение публики различно.

Известный писатель Бабель

улыбается, очки его сверкают, и он яростно спорит с музыкантом "классиком". (3)

"Почему "Аида" искусство, а вот эти фокстроты не искусство?"

Писатель с таким увлечением защищает искусство негров, что известный врач вполне верит мне, когда на его вопрос "Кто этот симпатичный молодой человек?" я отвечаю: "Это? Бабель! Не слышали?".

"Бабель? Администратор негров?" Я готов ударить доктора, но решаюсь, говорю: "Вот именно администратор! Попросите у него контрамарку".

Вот она Одесса! Бабеля не знает, но негров обожает!

Впрочем, сам Бабель продолжает эту мистификацию. Он не отрицает, что он "тут администратор в саду". Относительно контрамарки — отнекивается: "Я не выдаю!".

И даже, едва сдерживая хохот, объявляет, что "за устройство получает 30 рублей в вечер"...

Его милое, немного киргизское лицо расплывается в улыбку до ушей. Он отбегает в сторону и хохочет истерически.

А доктор говорит мне: "Какой милый администратор. Удивительно, как я его не знаю..."

"И знаете, почему создается такая шутка, такое легкое настроение? — говорит мне потом Бабель. — От джаз-банды. "И еще от запаха акции!" — вторю ему я, с любовью глядя на нашего Бабеля.

"Шантан! Но я люблю шантан! — восторженно отзывается

толстый зубной врач. — Я даже свое высшее образование получил в "Северном" (4) в свое время...

"Мистификация! Двое совсем не черные".

"А вам что — чернота важна? Так послушайте ваку".

"Они и поют? Только у них голоса хороши только для ударных инструментов. Так и хочется ударить".

"А вы видели "мима"?"

"Какое мимом? Прямо перед нами, а вы говорите мимом?"

"Я себя чувствую какой-то "Ханчей в Америке"... (5)

"Скорее в Африке: на сцене негры, в публике арапы..."

"Нет, вы смотрите, как этот барабанщик работает. 2000 движений в секунду".

"Это он по ноту".

"Нет, на память..."

"Сара, не смотри на этого толстого, который за пианино. Не смотри, я тебя прошу. Ты же должна разрешиться..."

Негры становятся в ряд и мякают по-кошачьи: это выходит довольно музыкально.

Сзади меня говорит какой-то эмпан: "Мамочка, я чувствую, что мы переносимся в Европу. Совсем как в Париже..."

Внизу шумит море, светятся огни порта... грузятся пароходы.

Д. Маллори

1. Рассказ Л. Андреева "Оригинальный человек".

2. Генри Вальдемарсен (Генрих Владимирович) Бейзерт был директором "Сада-театра бывш. Воронцовского дворца", который располагался внизу Приморского бульвара в "Лунном парке", как называли это место одесситы. 29 мая — 4 июня 1926 г. в саду-театре с огромным успехом проходили гастроли американских джазовых исполнителей, о которых знаменитый дирижер И.В. Прибик писал, что "они удивительные виртуозы, с исключительным мастерством владеющие своими инструментами".

3. Исаак Эммануилович Бабель, к тому времени автор четырех книг рассказов и отдельно изданной "Конармии", приехал в Одессу 26 мая 1926 г.

4. Фешенебельный кафешантан во дворе дома № 12 в Театральном (ныне — Чайковского) пер.

5. Девушка работница — персонаж оперетты Ракова и Румшинского "Ханче ин Америке" ("Ханче в Америке") — в исполнении известной артистки еврейского театра оперетты, эстрады Клары Юнг.



Генри Бейзерт



Исаак Бабель

Эвелина ШАЦ Proemio, или Возможное не

1

Я — не еврейка: ни по религии ни по традиции ни по воспитанию ни по культуре разве что только по преследованию

Я — не немка: ни по отчеству ни по традиции ни по родом разве что только по дозе лингвистического участия то есть культуры а значит — истории и в этом случае тоже по преследованию

Я — не американка разве что только по рождению в Филадельфии моей матери и по бесконечному обаянию города Нью-Йорка

2

Я — не венгерка, ну... может быть совсем чуть-чуть: внешне некая взрывная смесь цыганского и еврейского: волосы рыжие, кожа молочно-белая-веснушчатая, но главное — характер: пирожеральный и неистовый, цирковой наездницы и бедуйна: этим последним качеством кочевой сосредоточенности отличалась моя бабушка венгерка.

Я — не австрийка, разве что только по вос-

питанию австро-венгерскому: империя мелкобуржуазная, но еще дисциплинированная, а значит, вполне королевская: дисциплина воспитания, а не принуждения, присуща великим имперским цивилизациям. Последняя была уже пре-демократической.

Я — не русская. Если бы я не была ею кардинально, своей манерой быть, философией родного, то бишь эмоционального пейзажа, принадлежностью к определенной материнской утробе — суть язык русский (культура) со своим необъятным комплексом славяно / персидско / монголо / турецко / китайско / кочевнической и прочей части Европы. Разве этого так мало, быть русским?!

Я — не итальянка. Если итальянский не был бы вторым чревом, избранным, желанным. Рационализирующим мою русскую иррациональную манеру быть: некая графическая структура моей анархической непринужденности.

И, наконец, — рукопажная, в которой собственная свобода утверждает себя в ожесточенной схватке с принуждением власти имперской или с демократическим низведением к посредственности. Влияния всегда взаимны по закону противодействий, утомительному, но, надеюсь, конструктивному...

Вечно тоскующая по родному языку — Поэзии.

3

Я — не художник — иные науки и прочие ремесла, — если бы только не жила я и не дышала искусством с тех пор, как помню себя, и еще потому, что в венах моих штормом плещется кровь двух творителей, двух чужестранцев: встреча / столкновение родителей

у самого Черного моря, там, где Восток встречается с Западом, а море — море схлестнулось со степью, наделая меня двойным зрением кочевника.

Я — не ученый и не философ, если бы не была рождена и не была баюкана шаманским камланием и аполлонским духом Ольвии-Одессы, — детство на море среди глиняных дощечек, исписанных мистериальной гераклитовой мудростью; быстрый бег родных мест, пока я умирала... Сократ — уже больше не совершенное божество, и даже Чжуан-цзы не тревожит мое Ничто, пока я умирала... танцуя с Гераклитом, озвучивая Парменида и воспевая в расстраивающем многообразии пространства пустоту, что вовсе не суть Пустота — слово Поэта.

Я — не поэт, если бы не подпольная деятельность в авторском самиздате, требующая лихорадочной неустанной работы, пока стихи не станут чем-то вроде второй природы, необходимой для продолжения жизненных функций.

Я — не поэт, если бы не писала "И звездная материя — каннибальна", так вот, когда ребята одной сицилийской школы решили, что это слова Данте (в то время как я была просто художником, хотя, пожалуй, не только), так вот, их высокая ошибка меня настолько убедила, что с тех пор, шагая по миру, повторяю: Я — Поэт.

Между *poena insularis** и ризоматическими расстояниями — стансы Эвелины.

* (Лат.) — наказание островом, ссылка на остров

Вариации с итальянского 1995-2006-2011

в "каталогах" австрийского дворянства. Таким образом, пишет Сюзанна, "семья не была дворянского происхождения; они стали "достойными" при дворе только в год французской революции и получили рыцарское звание. Более того, у них "говорящие имена", иллюстрирующие еврейское происхождение, — Самуил и Готтлиб, то есть Еммануил". "Лояльные имена — Христиан и Андреас — приписаны по необходимости, — свидетельствует Эрнст Петрич, — иначе они никогда не сделали бы карьеры в католической Вене, в особенности карьеры дипломатической".

Теперь понятно, почему фон Том никогда не подписывал деловые бумаги своим полным именем: во-первых, не мог афишировать своего происхождения в пределах России, а во-вторых, искренне не желал быть самозванцем, то есть носить "новодельное" имя (вспомним, что сын его все же носил подлинное отчество, хотя и несколько русифицированное). Мало того, мозаика первоисточников позволяет видеть, что австрийский дипломат до конца своих дней оставался приверженцем веры отцов и покровителем своих единоверцев. Так, много места в корреспонденциях фон Тома из Одессы занимают разнообразные "еврейские сюжеты", скажем, обширная переписка о негодянте Хаиме Горохове. Этот еврейский коммерсант пожелал покинуть галицийские Броды и открыть торговлю в Одессе, однако венский двор почему-то препятствовал осуществлению этого намерения. Власть отказывали ему в выдаче паспорта, не разрешали пересекать границу. В этом и многих других случаях Том вступался за еврейских купцов, причем всегда мотивировал тем, что сомнительные политические принципы должны уступать место взаимовыгодным межгосударственным отношениям.

Мои зарубежные коллеги подчеркивают, что, несмотря на "сомнительное происхождение", император высоко ценил Самуила фон Тома. Скажем, в 1804 году немало объявилось охотников, желающих консультировать в Одессе, в том числе — именитых, однако предпочтение было все же отдано "нуворишу". Мало того — и это весьма показательно! — ему было дозволено СОВМЕЩАТЬ ОТВЕТСТВЕННУЮ СЛУЖБУ С АКТИВНЫМИ КОММЕРЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ. Как было сказано, его наградили высшим орденом, а когда он пожелал уйти со службы, его ходатайство удовлетворили без проблем. Что до старшего сына, Карла, служившего при отце с 1818 года, он добился должности уже не так просто: обращение к императору о повышении в чине последовало в 1832 году, а удовлетворено лишь два года спустя.

"Вот репрезентативная личность, — говорит Сюзанна Накатен о Самуиле фон Томе, — идеально подходящая для жизни в расцветающей Одессе, не так ли?" В самом деле, фон Том превосходно вписывался в историко-бытовой пейзаж стремительно прогрессирующего приморского торжища! Именно с его легкой руки бродские евреи заняли достойное место в городе и регионе, способствовали тому, что о едва нарождавшемся в голой степи городке заговорили по всей Европе. Сохранились архивные материалы (я ознакомился с такого рода документами и в Государственном архиве Одесской области) о содействии фон Тома расселению сотен семей из Австрии на территории между Херсоном и Одессой. Обратим внимание на то, что означенные мигранты были людьми довольно состоятельными и, таким образом, инвестировали торговлю России со странами Южной Европы и Востока. Был таким инвестором и сам австрийский консул.

Вот, оказывается, какой интересный знакомец был у Пушкина в Одессе. Знакомец, несомненно, сыгравший определенную роль в изменении некоторых житейских подходов "коллежского секретаря", пришедшего в итоге к идее коммерциализации литературного труда и "Разговору книгопродавца с поэтом".

...Основываясь на архивных данных, выдающийся историк Одессы К.Н. Смольянинов утверждает, что самым первым печатным текстом, изданным в городе, были СТИХИ — сонет в честь примадонны итальянской оперной труппы Густавины Замбони. Подписан же этот мадригал криптонимом "F. T.". Предполагается, что автор — это наш герой. Так непредсказуемо соседствуют в исторических хрониках Одессы два разных поэта, два добрых приятеля — Александр Пушкин и Самуил фон Том.

Хижина дяди... Бейзерта

1 июня 1926 г. в газете "Известия одесского окружкома КП(б)У, окружкома и ОПБ" был напечатан фельетон "Хижина дяди... Бейзерта" известного одесского журналиста Бориса Давидовича Флита, который в старые времена подписывался псевдонимом Незнакомец, в советские — Д. Маллори, и остался в романе И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" под псевдонимами соответственно Принц Датский и Маховик. Принято считать, что газета живет один день. Но, как изъяснялись в старину, ласкаю себя надеждой, что нынешняя публикация фельетона несколько продлит и этот день и память о людях, достойных памяти.

Ростислав АЛЕКСАНДРОВ



Борис Флит (Д. Маллори)

"А я люблю негритянок", — говорил персонаж Л. Андреева. (1)

Дело вкуса. Это было во времена общественного упадка, поисков экзотики и эмпирики. Но почему теперь в Советской стране столь возлюбили "шоколадных ребят", хоть убейте, не понимаю! "А я люблю негритянок!" — это, конечно, болезнь.

Но "А мы любим негров и джаз-банд", это уже — извините — эпидемия!

"Хижина дяди Бейзерта" в Воронцовском саду полна звуков негритянских джазбандов и фокстротов. (2)

Хорошо это или плохо, — об этом скажут рецензенты.

Мнение публики различно.

Известный писатель Бабель

улыбается, очки его сверкают, и он яростно спорит с музыкантом "классиком". (3)

"Почему "Аида" искусство, а вот эти фокстроты не искусство?"

Писатель с таким увлечением защищает искусство негров, что известный врач вполне верит мне, когда на его вопрос "Кто этот симпатичный молодой человек?" я отвечаю: "Это? Бабель! Не слышали?".

"Бабель? Администратор негров?" Я готов ударить доктора, но решаюсь, говорю: "Вот именно администратор! Попросите у него контрамарку".

Вот она Одесса! Бабеля не знает, но негров обожает!

Впрочем, сам Бабель продолжает эту мистификацию. Он не отрицает, что он "тут администратор в саду". Относительно контрамарки — отнекивается: "Я не выдаю!".

И даже, едва сдерживая хохот, объявляет, что "за устройство получает 30 рублей в вечер"...

Его милое, немного киргизское лицо расплывается в улыбку до ушей. Он отбегает в сторону и хохочет истерически.

А доктор говорит мне: "Какой милый администратор. Удивительно, как я его не знаю..."

"И знаете, почему создается такая шутка, такое легкое настроение? — говорит мне потом Бабель. — От джаз-банды. "И еще от запаха акции!" — вторю ему я, с любовью глядя на нашего Бабеля.

"Шантан! Но я люблю шантан! — восторженно отзывается

толстый зубной врач. — Я даже свое высшее образование получил в "Северном" (4) в свое время...

"Мистификация! Двое совсем не черные".

"А вам что — чернота важна? Так послушайте ваку".

"Они и поют? Только у них голоса хороши только для ударных инструментов. Так и хочется ударить".

"А вы видели "мима"?"

"Какое мимом? Прямо перед нами, а вы говорите мимом?"

"Я себя чувствую какой-то "Ханчей в Америке"... (5)

"Скорее в Африке: на сцене негры, в публике арапы..."

"Нет, вы смотрите, как этот барабанщик работает. 2000 движений в секунду".

"Это он по ноту".

"Нет, на память..."

"Сара, не смотри на этого толстого, который за пианино. Не смотри, я тебя прошу. Ты же должна разрешиться..."

Негры становятся в ряд и мякают по-кошачьи: это выходит довольно музыкально.

Сзади меня говорит какой-то нэпман: "Мамочка, я чувствую, что мы переносимся в Европу. Совсем как в Париже..."

Внизу шумит море, светятся огни порта... грузятся пароходы.

Д. Маллори

1. Рассказ Л. Андреева "Оригинальный человек".

2. Генри Вальдемарсен (Генрих Владимирович) Бейзерт был директором "Сада-театра бывш. Воронцовского дворца", который располагался внизу Приморского бульвара в "Лунном парке", как называли это место одесситы. 29 мая — 4 июня 1926 г. в саду-театре с огромным успехом проходили гастроли американских джазовых исполнителей, о которых знаменитый дирижер И.В. Прибик писал, что "они удивительные виртуозы, с исключительным мастерством владеющие своими инструментами".

3. Исаак Эммануилович Бабель, к тому времени автор четырех книг рассказов и отдельно изданной "Конармии", приехал в Одессу 26 мая 1926 г.

4. Фешенебельный кафешантан во дворе дома № 12 в Театральном (ныне — Чайковского) пер.

5. Девушка работница — персонаж оперетты Ракова и Румшинского "Ханче ин Америке" ("Ханче в Америке") — в исполнении известной артистки еврейского театра оперетты, эстрады Клары Юнг.



Генри Бейзерт



Исаак Бабель

Эвелина ШАЦ Proemio, или Возможное не

1

Я — не еврейка: ни по религии ни по традиции ни по воспитанию ни по культуре разве что только по преследованию

Я — не немка: ни по отчеству ни по традиции ни по родом разве что только по дозе лингвистического участия то есть культуры а значит — истории и в этом случае тоже по преследованию

Я — не американка разве что только по рождению в Филадельфии моей матери и по бесконечному обаянию города Нью-Йорка

2

Я — не венгерка, ну... может быть совсем чуть-чуть: внешне некая взрывная смесь цыганского и еврейского: волосы рыжие, кожа молочно-белая-веснушчатая, но главное — характер: пирожеральный и неистовый, цирковой наездницы и бедуйна: этим последним качеством кочевой сосредоточенности отличалась моя бабушка венгерка.

Я — не австрийка, разве что только по вос-

питанию австро-венгерскому: империя мелкобуржуазная, но еще дисциплинированная, а значит, вполне королевская: дисциплина воспитания, а не принуждения, присуща великим имперским цивилизациям. Последняя была уже пре-демократической.

Я — не русская. Если бы я не была ею кардинально, своей манерой быть, философией родного, то бишь эмоционального пейзажа, принадлежностью к определенной материнской утробе — суть язык русский (культура) со своим необъятным комплексом славяно / персидско / монголо / турецко / китайско / кочевнической и прочей части Европы. Разве этого так мало, быть русским?!

Я — не итальянка. Если итальянский не был бы вторым чревом, избранным, желанным. Рационализирующим мою русскую иррациональную манеру быть: некая графическая структура моей анархической непринужденности.

И, наконец, — рукопажная, в которой собственная свобода утверждает себя в ожесточенной схватке с принуждением власти имперской или с демократическим низведением к посредственности. Влияния всегда взаимны по закону противодействий, утомительному, но, надеюсь, конструктивному...

Вечно тоскующая по родному языку — Поэзии.

3

Я — не художник — иные науки и прочие ремесла, — если бы только не жила я и не дышала искусством с тех пор, как помню себя, и еще потому, что в венах моих штормом плещется кровь двух творителей, двух чужестранцев: встреча / столкновение родителей

у самого Черного моря, там, где Восток встречается с Западом, а море — море схлестнулось со степью, наделая меня двойным зрением кочевника.

Я — не ученый и не философ, если бы не была рождена и не была баюкана шаманским камланием и аполлонским духом Ольвии-Одессы, — детство на море среди глиняных дощечек, исписанных мистериальной гераклитовой мудростью; быстрый бег родных мест, пока я умирала... Сократ — уже больше не совершенное божество, и даже Чжуан-цзы не тревожит мое Ничто, пока я умирала... танцуя с Гераклитом, озвучивая Парменида и воспевая в расстраивающем многообразии пространства пустоту, что вовсе не суть Пустота — слово Поэта.

Я — не поэт, если бы не подпольная деятельность в авторском самиздате, требующая лихорадочной неустанной работы, пока стихи не станут чем-то вроде второй природы, необходимой для продолжения жизненных функций.

Я — не поэт, если бы не писала "И звездная материя — каннибальна", так вот, когда ребята одной сицилийской школы решили, что это слова Данте (в то время как я была просто художником, хотя, пожалуй, не только), так вот, их высокая ошибка меня настолько убедила, что с тех пор, шагая по миру, повторяю: Я — Поэт.

Между *poena insularis** и ризоматическими расстояниями — стансы Эвелины.

* (Лат.) — наказание островом, ссылка на остров

Вариации с итальянского 1995-2006-2011

Диссидент Леня, или Апология сумасшедшего

Весной 1969 года мы переехали в общежитие на Ленинских горах. Все было приятно взволнованы, шаг на "высотку" рассматривался как завершение некоторого переходного периода во взрослую жизнь и большую науку.

Наша радость была недолгой. По этажу поползли слухи, что среди нас объявился диссидент. Потом стала известна официальная версия случившегося. Леонид Наклеушев, студент нашего факультета, был "уличен" в чтении дореволюционной книги М.О. Гершензона "Чаадаев. Жизнь и мышление". Книга содержала "Философические письма" и "Апологию сумасшедшего" П.Я. Чаадаева. Мы были больше смущены, чем возмущены. Запрещать Чаадаева, который был одним из героев "Былого и дум", другом декабристов и наставником молодого Пушкина? Это было уж слишком!

Но дальше больше — Леню отправили лечиться в психушку. Мы его видели по возвращении, он иногда выходил в коридор, но вел себя странно — рассматривал проходящих мимо невидящим потухшим взглядом, не вступал ни в какие разговоры, вел жизнь затворника. Мы ни разу не видели его на лекциях или семинарах. Спустя пару месяцев этот "отшельник высотки" был отчислен из университета. Я увидел его спустя двадцать лет на телевизионном экране — Наклеушев эмигрировал в США и стал профессором философии известного американского университета. В каком-то смысле он повторил судьбу самого Чаадаева. Разница была лишь в одном: сам Чаадаев с момента опубликования "Философических писем" стал невъездным.

История Наклеушева вызвала у нас, курсников, моду на Чаадаева. Мы гадали, какие мысли нашего предшественника — Чаадаев учился в допожарном Московском университете в 1808-1811 годах — могут рассматриваться в качестве крамольных? А Чаадаев писал: "Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого". "Вся история нового общества происходит на почве убеждений. Значит, это настоящее воспитание. Утвержденное с самого начала на этой основе новое общество двигалось вперед лишь под влиянием мысли. Интересы в нем всегда следовали за идеями и никогда им не предшествовали. В этом обществе постоянно из убеждений создавались интересы, никогда интересы не вызвали убеждений. Все политические революции были там, по сути, революциями нравственными. Искали истину и нашли свободу и благоденствие".

Чаадаев был нашим для Герцена, который первым правильно оценил трагедию одинокого мыслителя с Басманной. Нашим он стал и для моего поколения. Чаадаев был и останется "большой совестью" русского народа, высшим судьей для западников и славянофилов, социалистов и либералов, ибо он любил родину, как любили ее Петр Великий и Александр Пушкин — с открытыми глазами.

Вето на Струве

К 1971 году завершился мой переходный период, надо было выбирать тему для курсовой. И здесь судьба меня столкнула с самым оригинальным преподавателем и человеком моей студенческой поры — Дмитрием Дмитриевичем Столяровым. Дим Димыч, как его ласково называли за глаза студенты и коллеги, был человеком вне времени и пространства. Его истинной жизнью было пребывание в истории и мышлении. За маской скромного доцента кафедры истории экономических учений скрывался настоящий ученый-энциклопедист, искатель истины. Так же, как и в Асмусе, в нем жил неистребимый дух отстаивания подлинных ценностей перед агрессивностью вульгарного марксизма.

Д.Д. Столярова в тридцатые годы судьба забросила в Среднюю Азию, в Ташкент. Молодой инструктор ЦК компартии Узбе-

Владимир ДИМОВ

ГЛАЗАМИ ЧАЩКОГО

Так называется очередная книга Почетного члена Всемирного клуба одесситов — Владимира Александровича Димова. Подзаголовок к книге вводит читателя в биографию автора: "Об одесском романтизме, университетском свободомыслии и реформах, которых не было".

Сегодня мы завершаем печатание главок из книги, которая вышла в Москве летом 2011 года.

кистана курировал важнейшие гидротехнические сооружения республики. А что такое для Узбекистана вода — объяснять не надо. Значительную часть своего служебного времени он проводил в дальних поездках. Во время одной из поездок на Арал он узнал страшную весть: в Ташкенте произошло землетрясение, город буквально стерт с лица земли, погибла и семья Дмитрия Дмитриевича — жена и дочь. После этой катастрофы он не мог оставаться в Ташкенте.

Надо было жить, и он выбирает науку. С этого времени книги по философии навсегда станут спутниками его жизни. Партийное руководство не возражало против ухода строитивного сотрудника — уже тогда Дмитрий Дмитриевич вслух сомневался в целесообразности строительства Каракумского канала. Он считал, что реализация этого проекта приведет Арал к экологической катастрофе. Это было сказано задолго до Чингиза Айтматова.

В МГУ Д.Д. Столяров пришел уже кандидатом экономических наук. Второй московский брак оказался неудачным. Жена была равнодушна к профессиональным интересам мужа. Всякий раз, когда он покупал книги, она устраивала истерики. Библиотека Д.Д. Столярова находилась в домашнем чулане. Столяров в течение тридцати лет собрал богатейшую библиотеку дореволюционных изданий классиков философии, политэкономию и социологии. Чего здесь только не было — Платон в переводах Вл. Соловьева, издания "Метафизики" и "Никомаховой этики" Аристотеля, Декарт и Мальбранш, Кант и Гегель, Адам Смит и Рикардо, историки Тьер и Токвиль, книги М.О. Гершензона и первое издание "Вех" 1909 года.

Д.Д. Столяров был настоящим энциклопедистом, его советы и рекомендации были глубоки и надежны, студенты и аспиранты, знавшие его близко, любили этого скромного интеллигентного человека, "белую ворону" на фоне карьеристов и ревнителей марксистско-ленинской идеологии. Писал ли он докторскую? Может быть, но делал это под прессом жены и кафедры, где многие считали Столярова выпавшим из своего времени, чудачком и оригиналом. Уступчивость и интеллигентность, в конце концов, погубили его.

На рубеже 1980 года Дмитрий Дмитриевич получил "новое назначение" — преподавать на вечернем отделении. Для человека, много пережившего, с не вполне здоровым сердцем, это обстоятельство стало роковым. Ему стало плохо во время лекции. Умер Д.Д. Столяров на глазах у студентов.

При всей своей интеллигентности и незащищенности он не был ученым-занудой. Влюблялся, писал стихи Людмиле Сперанской, самой красивой женщине на факультете, дарил ей цветы и книги. Вокруг него всегда роилась молодежь. Он не реализовал себя в официозной науке, но был большим ученым и мыслителем по призванию. Его взгляды, мягко говоря, не совпадали со взглядами большинства преподавателей. Судьба, однако, преподнесла ему жестокий финал. Нет, не смерть в аудитории. Его жена, не любившая ни Дмитрия Дмитриевича, ни его науку, ни университет, решительно порвала со своим прошлым и прошлым Столярова. Архив его был уничтожен, библиотека, которую он планировал передать Московскому университету, попала в чужие руки. В архивах экономического факультета не сохранилось ни одной фотографии. Хуже беспамьяства ничего не может быть.

Д.Д. Столяров не написал главную книгу своей жизни, его ташкентский и московский дома постигли житейские катастро-

фы. Он не оставил детей. Но в памяти многих истинных учеников и друзей он остался человеком искренних убеждений, преданным науке, представителем традиций свободомыслия — главного предмета в Московском университете.

Когда Д.Д. Столяров предложил мне писать курсовую работу на конкурс студенческих работ, посвященную экономическим взглядам Петра Бернгардовича Струве, я был ошарашен. Что нового мог сказать я о теории стоимости бывшего "легального марксиста"? Я еще больше удивился, когда Дим Димыч сказал, что эта работа потребует глубоких знаний в области западной философии, учений Фомы Аквинского и первых схоластов, знакомства с идеями австрийской экономической школы предельной полезности.

Может быть, я не в полной мере освоил наследие идейных предшественников Струве, но три выпуска его книги "Хозяйство и цена", выпущенные перед первой мировой войной и давшие ему звание академика, я проштудировал основательно. И здесь меня ждало личное открытие. Я познакомился с личностью и духовными исканиями Петра Бернгардовича Струве — удивительного политического мыслителя, историка культуры, социолога, блестящего знатока Пушкина и русской литературы, историографа и лингвиста. Его предки были из остзейских немцев, дед был основателем Пулковской обсерватории, отец — государственным сановником, директором Царскосельского лицея и губернатором. Дома царил культ Пушкина и русской культуры. Но будучи русским по воспитанию и чувствам, как говорил сам Струве, он чувствовал сильное притяжение к мощной немецкой культуре, немецкой науке и литературе. Молодой Струве годами жил за границей, в Германии. На юридическом факультете Петербургского университета он познакомился с Владимиром Ульяновым. Их дружба продолжалась несколько лет. Они разошлись по идейным разногласиям.

В начале 1900-х годов Струве порвал с марксизмом, социал-демократами ленинско-плехановского типа и стал одним из организаторов и идеологов партии конституционных демократов (кадетов), стал ведущим автором сборников-манифестов русского либерализма "Проблемы идеализма" (1902), "Вехи" (1909), "Из глубины" (1918). Духовные метаморфозы автора манифеста РСДРП были нормой для этой эпохи, вспомним судьбу Н.А. Бердяева или С.Н. Булгакова — тот же путь от марксизма к либерализму.

Струве-экономист утверждал: теория трудовой стоимости Маркса — фантом, напоминающий представления средневековых схоластов. Источником стоимости и прибавочной стоимости является не только физический труд, но и капитал, а также предельная полезность товара согласно взглядам представителей венской школы. Детали я, по понятным причинам, опускаю. Впрочем, они и малоинтересны. Тогда мне показалось, что система доказательств П. Б. слишком тяжеловесна. В рамках современной экономической теории этот путь доказательств значительно короче. Моя студенческая работа получила на конкурсе одно из двух вторых почетных мест, первое не было присуждено никому.

Дим Димыч сначала поздравил меня, заявив, что на базе этой курсовой можно делать интересный диплом. Но спустя пару дней сказал, что такого продолжения не будет — "наверху" не рекомендуют. Так я снова оказался перед проблемой очередного выбора — обстоятельства все настойчивее выталкивали меня из сферы идеологии.

С наследием Струве я столкнулся еще раз спустя год. Поиски интересных книг привели меня на квартиру Алика Гинзбурга. Встреча носила случайный характер. Помню, как сейчас, маленькую квартирку, больше напоминающую книжный склад изданий Бердяева, Солженицына и каких-то "самиздатовских" поэтов. И вдруг мне на глаза попала книга в старом дореволюционном переплете. Я не верил своим глазам: это был третий сборник "веховцев" — "Из глубины" 1918 года издания. Алик сказал, что сборник не продается и что он большая библиографическая редкость. Личный экземпляр Бердяева остался во Франции, второй экземпляр находится в национальной библиотеке в Амстердаме. Этот экземпляр чудом уцелел в годы "красного террора" и, возможно, является единственным в нашей стране. "Могу предложить западное издание", — сказал мой новый знакомый.

Помню, тогда я унес с собой "Самопознание" Н.А. Бердяева и роман-антиутопию "1984". Статью П.Б. Струве из сборника статей о русской революции "Из глубины" я прочитал спустя двадцать лет. Суровые оценки патриарха русского либерализма и сегодня звучат актуально и современно:

"Революция, низвергшая "режим", оголила и разнуздала гоголевскую Русь, обрядив ее в красный колпак, и советская власть есть, по существу, николаевский горюдничий, возведенный в верховную власть великого государства. В революционную эпоху Хлестаков, как бытовой символ, из коллежского регистратора получил производство в особу первого класса, и "Ревизор" из комедии провинциальных нравов превратился в трагедию государственности. Гоголевско-щеринское обличие великой русской революции есть непрерываемый исторический факт".

"Старый режим самодержавия опирался в течение веков на социальную власть и политическую покорность того класса, который творил русскую культуру и без творческой работы которого не существовало бы и самой нации, класса земельного дворянства. Систематически отказывая сперва этому классу, а потом развивавшейся на его стволе интеллигенции во властном участии в сфере устройства и управления государством, самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей психологию и традицию государственного отщепенства. Это отщепенство и есть та разрушительная сила, которая, разлившись по всему народу и спрятавшись с его материальными похотями и вожделениями, сокрушила великое и многосоставное государство".

Струве считал, что "лишь в эпоху уже после падения самодержавия государственная власть в лице Столыпина стала на этот единственно правильный путь. Но упорствуя в своем реакционном недоверии к культурным классам, ревниво ограждая от них свои прерогативы, она систематически отталкивала эти классы в оппозицию. А оппозиция эта все больше и больше прониклась отщепенским, антигосударственным духом. Так подготавливалась и творилась революция с двух концов — исторической монархией с ее ревнивым недопущением измотанных и образованных элементов к властному участию в устройстве государства и интеллигенции страны с ее близорной борьбой против государства. В этой борьбе интеллигенция, несмотря на грозное предостережение 1905-1907 годов, натаивала низы на государство и историческую монархию, несмотря на все ее ошибки, пороки и преступления все-таки выражающую и поддерживающую единство и крепость государства".

Ну чем не Токвиль? Русская редакция "Старого порядка и революции". И так же, как и о Токвиле, о П.Б. Струве можно сказать, что он больше интересен как политический мыслитель, чем политик. В 1919 году, рассказывал мне Д.Д. Столяров, вагон с семьей, вещами и библиотекой Струве был задержан чекистами. Дали знать Ленину. Владимир Ильич дал команду Дзержинскому немедленно освободить задержанных, взять под охрану и в целости и сохранности переправить через линию фронта. Сам П.Б. в результате очередной политической метаморфозы был министром в правительстве Врангеля. Но Ленин уважал Струве, помнил дружбу и тепло гостеприимной семьи Струве-отца. Может быть, было чувство общей вины — они вместе несли ответственность за трагедию русской революции.

Токвиль и "Старый порядок"

В один из погожих весенних дней 1969 года я бродил по переулкам старой Москвы. Маршрут был традиционный: "Книжная лавка писателей" — "Пушкинская лавка" — "Букинист" в Столешниковом. Книжных сюрпризов не было, в "Пушкинской лавке" купил "Воспоминания" Токвиля. Токвиля знал достаточно хорошо, в моей библиотеке уже была книга "О демократии в Америке" и книга Сореля с биографическим очерком историка. Вдруг рядом стоящий незнакомый мужчина, типичный интеллигент — сходу оценил я — неожиданно вмешался в мой немногословный диалог с продавцом:

— А вы серьезно интересуетесь Токвилем? Мне Токвиль тоже интересен. Глаголев — преподаватель кафедры философии МГИМО.

— А я — бывший студент философского факультета МГУ.

— Я там учился, у меня много знакомых на факультете.

Разговорились. Владимир Сергеевич оказался очень интересным собеседником. Вспомнили знакомых профессоров и преподавателей.

— Самая зрелая и интересная работа Токвиля — "Старый порядок и революция". Она была переведена в начале 1900-х на русский, но с тех пор не переиздавалась. Токвиль неинтересен как политик, но интересен как политический мыслитель. На Западе его высоко ценят как идеолога политических свобод и гражданских прав. Написал он по меркам своего времени немного, но его мысли о французской революции и революциях вообще оригинальны по содержанию и блестящи по форме. Он классик французской литературы, как и другие историки Реставрации, Гизо или Тьер. Может быть, когда-нибудь я напишу книгу о нем, а почему бы нет?

Заинтригованный этой встречей, я рванул в библиотеку. К моему удивлению и какому-то трудно объяснимому счастью, "Старый порядок" был не в спецхране, а в открытом доступе. Прочитал за один вечер, нашел массу аналогий с нашей революцией, мне сразу показалось, что в этой книге заключена какая-то большая тайна прошлого и ненавязчивый прогноз будущего. Никакой прогресс не может называться прогрессом, никакие административные и экономические реформы реформами, если они ущемляют политическую свободу и гражданские права. Будущее Европы Токвиль связывал с отказом от идей централизации и тотального контроля государства над обществом, он первым указал на опасность писательских иллюзий, указывал и предостерегал против поспешного отказа от достижений старого порядка. Его политическим идеалом была реформистская модель развития общества, исключаяющая классовую борьбу в форме революций и социальных потрясений. Продуктом революции, как правило, становится еще более жесткая централизация, а следовательно, каждый шаг вперед в сторону иллюзорной социальной справедливости окунается двумя шагами назад в ущемлении Свободы.

Прошли годы. Доктор философских наук Владимир Сергеевич Глаголев на рубеже 80-90-х годов написал несколько действительно интересных книг, в том числе об истоках русской культуры и православия. Среди них книги об Алексисе Токвиле, пророке трагедий XX века, не было.

А жаль!

Зинаида ДОЛГОВА

Дерево для тети Тины

Время собирать камни. Время отдавать долги. А этот, безусловно, мой, и пока не оплаченный. Так что надо спешить: почти не осталось людей, которые могут подтвердить мои слова.

Харетина Кондратьевна Казанцева, о которой хочу рассказать, достойна звания "Праведник мира". И душа, о наличии которой все время спорят, настойчиво напоминает мне: "Поторопись!".

В августе 1962 года я в четвертый раз поступала в одесский университет. Перед аудиторией, за которой, возможно, решалась наша судьба, стояла высокая красивая девушка. Ее глаза не оставляли сомнения в том, что мы принадлежим к одной, нежелательной в этих стенах этнической группе. Так я и пошутила, знакомясь с ней.

Но девушка мягко ответила: "Я русская". Многие я не могу простить советской власти, но это стоит первым в списке ее злодеяний: Люба, которая никогда не лгала, Люба, давно знающая, что она удочерена и фактически спасена русской женщиной, вынуждена была сказать неправду. Мы были чужими, а ей очень хотелось учиться, пусть и на вечернем отделении.

Но много позже я поняла, что не это было главной причиной, заставившей ее так ответить. А живущая в Хайфе Любина подруга, Рахель Могилевская, недавно подтвердила мою догадку: Люба, которой соседи в семь лет рассказали правду ее появления в семье Казанцевых, никогда не говорила маме, что ее тайна — уже не тайна.

Нас было трое на том потоке, связанных чем-то незримо, но крепко. И нас любила группа. 6 лет мы, три еврейские заводилы (увы, и Мэри Городецкой-Трифоненко, спустя годы ставшей заведующей отделом восточной литературы самой большой библиотеки бывшего Советского Союза, в котором еврейская литература заняла достойное место, уже нет в живых), дружили. На заседание нашего домашнего кружка считали за честь попасть многие. Доцент Вера Федосеевна Руденко, наш руководитель диплома, так и ответила: "Посчитаю за честь". (Написала "честь" и подумала, что оно больше других определяет суть Любиного характера.) Мы ездили к Грину и к Волошину, когда еще были живы жены — хранительницы этих домов-музеев, мы обсуждали фильмы и книги, читали и переписывали самиздаты.

И меня, а еще раньше Рахель Могилевскую (в девичестве Фридман) порахало, насколько Люба, которая была тоньше, интеллигентнее и, конечно, образованнее своей мамы, никогда не показывала это. Всегда прислушивалась к маминим советам и желаниям.

Сегодня все, что касается нашей с Любой общей молодости, литературных споров, хранится только в моей памяти. И в памяти Любиных сыновей, особенно младшего, который старается как можно больше узнать о маме.

Но есть то, что я хочу, чтобы узнали все. Это не только факт биографии Любы и ее мамы. Это факт нашей общей биографии.

Тогда в университетском коридоре я ответила: "Такие глаза сами говорят, кто их обладательница". Больше мы к этой теме не возвращались. Незачем было. Я уехала с мужем в Новосибирск. Летом приезжала и старалась навестить Любину маму — тетю Тину. Она уже болела.

И вот в один из дней Харетина Казанцева показала мне письмо-треугольник. В семье моих ровесников хранились такие письма. Только не все их отправителей могли потом перечитывать их и вспоминать... Вот и отправителя этого письма Антонина Казанцева не дождалась. И спасенную ею девочку — свою дочку — он ни разу не видел. А обращался в письме он к обеим.

Наверное, пора объяснить все. Ради этого и пишу. Мы сидели с тетей Тиной (так по привычке я и называла ее) в полутемной комнате на Франца Меринга, 59, она держала руку на извещении о гибели мужа и говорила, говорила, как будто чувствовала, что недолго осталось. Вспоминала, какой была веселой, какой была певуньей. Рассказывала, как любила детей, как создавала дворовый детский театр. Она торопилась, пропуская события, годы... А потом вдруг сказала: "Люба ведь не моя родная дочь. Но муж (она кивнула на треугольник) знал, что я взяла ее. Он тогда под Одессой воевал. Я перешла линию фронта. Да какая там линия? Вот это Одесса, а это чуть дальше. Пешком прошла, чтобы рассказать ему..."

В тот день (у меня и сейчас мурашки по коже) я узнала, что до Любы тетя Тина уже пыталась спасти еврейского ребенка, мальчика. Его бросила в подъезд в надежде, что выживет, женщину, которую с десятками других гнали в гетто. "Я прятала его на чердаке. Соседи знали, но никто не выдал. Умер маленький. Не спасла..." Любе в то время уже было 30 лет, а эта женщина слотнула, говоря о смерти чужого младенца. "И тогда я пошла в приют. Некоторых детей прятал сосед. Но потом отводили в приют под чужими именами. Боялись. "Настоящей фамилии девочки не знал никто. Так у меня появилась дочка. Когда я сказала мужу, он меня поддержал. Вот только Любушку он так и не увидел..."

Рахель Могилевская, та самая подруга детства, написала мне: "Всю жизнь я поражалась мудрости ребенка, который нашел в себе силы не сказать маме, что соседи, те самые соседи, которые не выдали ее ни румынам, ни немцам, рассказали ей, семилетней, кто она на самом деле. В тех самых выражениях. Чтобы знала свое место". Об этом мне уже много позже рассказала и Люба. А Рахель (или Люся, как называли ее в школе и во дворе) узнала от своей мамы, Кипнис Брониславы Григорьевны, которой сама Тина по какому-то наитию рассказала. И восьмилетняя Рахель никогда не говорила об этом с Любой. Наше поколение взрослело рано. И умело молчать.

Удивительно ли, что в школе и потом Люба дружила с еврейскими девочками? Как будто пыталась понять себя. И замуж вышла за еврея. Еще была жива Любина бабушка, мать тети Тины. Я прекрасно ее помню. Сухонькая старушка уже не вставала. Когда Люба привела будущего мужа в дом, бабушка сказала: "Выходи за него, Любушка. Бог знает, что делает. Это твоя судьба". Бабушка тоже не знала, что Любе все известно.

Я познакомилась Любу со своей приятельницей Антониной Соломоновной Бобович. Она была намного старше нас, но нас многое связывало. Однажды она осторожно не то сказала, не то спросила, почему Люба так похожа на еврейку. Поняв по моему выражению лица, что я знаю, почему, она только и сказала, что и ей известна правда. На мой немой вопрос ответила, что в переулке Чайковского живут ее знакомые, которые знали Антонину Казанцеву и историю спасения Любы. Мне бы тогда этих людей разыскать. Но мы были молодыми, кто мог подумать, что Люба уйдет так рано... Да и о Праведниках мира я тогда не слышала, и Израиль во мне отзывался разве что гордостью родителей и их друзей, обозначенной в памяти рядом с датой: "1967 год".



В году, если не ошибаюсь, 1985-м я решила поехать в Меджибож. Там в гетто погибли родители отца и его сестра со всей семьей. Памятник жертвам поставили на деньги родственников. Я помню, как приходили к нам люди, собиравшие средства на памятник.

Я никогда не видела своих погибших родственников. Но это место я обязана была посетить.

Вы верите в случайности? Я — нет. Люба вызвалась поехать со мной.

Сегодня в Меджибоже не осталось ни одного еврея. Но тогда мы, пройдя несколько десятков метров, встретили старую женщину, бывшую учительницу. Показав дорогу, она вдруг спросила Любу:

— Из чьей ты семьи, деточка?

Люба побледнела. Фамилия "Казанцева" ничего не сказала старой учительнице. "Удивительное сходство! — сказала она. — Просто вылитая..." И несколько раз оглянулась, уходя.

Я не остановила ее. Любе стало плохо, ее трясло так, что слышно было, как стучат зубы. Она долго не могла прийти в себя. Долго не могла успокоиться: почему хотя бы не спросила, на кого она так похожа?

В 1990 году я с семьей уехала в Израиль. Люба к тому времени уже несколько лет была в отказе. Вы не знаете, какие секреты могла выдать сотрудница "Комсомольской искры", занимающаяся письмами читателей? Даже если там были жалобы.

Люба начала работать санитаркой. И... поступила в Киевский пединститут на отделение сурдопедагогике. Когда произошла авария в Чернобыле, она была на весенней сессии, которая длилась несколько недель. Через год врачи обнаружили у Любы рак. Первые две операции она перенесла в Одессе. Институт при этом закончила. И работу свою сурдопедагогом полюбила.

Умению не сдаваться, преодолевать трудности, достойно нести материальные и физические невзгоды Люба научилась у своей матери Харетины Кондратьевны Казанцевой. Не было случая, чтобы меня не угостили в этом доме коржиками, состряпанными буквально по рецепту деда из "Колобка". Это умение пригодились Любе и в Израиле, когда, наконец, ее семья получила разрешение на выезд. В Москве в ОВИРе она рассказала свою историю. У нее было письменное свидетельство Рахелиной матери. Ей поверили. Сказали, что исправят записанное в 5-й графе.

В слезах Люба вышла на улицу, где ждали ее сыновья. Только тогда мальчишки узнали, что если бы не бабушка Тина, их могло бы и не быть. Но в Израиле оказалось, что в ОВИРе обманули. Любу записали русской. А она мечтала о дереве в честь своей матери на алее Праведников...

Начались обычные олимовские трудности: иврит, курсы сурдопедагогов. Она была самой перспективной на курсе. Дала блестящий зачетный урок. Впереди, казалось, только хорошее. Казалось. Но Чернобыль догнал Любу и на Земле Обетованной. Чтобы Любу похоронили на еврейском кладбище, мне пришлось на моем еще не окрепшем иврите рассказать всю ее историю в раввинатском суде.

В Москве не поверили, а седобородые раввины поверили.

И теплится надежда, что и в Яд-ва-Шем отнесутся с доверием к свидетельствам пока еще живущих людей, кому доподлинно известна эта история. И потянется к небу, куда, говорят, поднимаются души праведников, дерево в честь Праведницы мира Харетины Кондратьевны Казанцевой.

Ну чем не Токвиль? Русская редакция "Старого порядка и революции". И так же, как и о Токвиле, о П.Б. Струве можно сказать, что он больше интересен как политический мыслитель, чем политик. В 1919 году, рассказывал мне Д.Д. Столяров, вагон с семьей, вещами и библиотекой Струве был задержан чекистами. Дали знать Ленину. Владимир Ильич дал команду Дзержинскому немедленно освободить задержанных, взять под охрану и в целости и сохранности переправить через линию фронта. Сам П.Б. в результате очередной политической метаморфозы был министром в правительстве Врангеля. Но Ленин уважал Струве, помнил дружбу и тепло гостеприимной семьи Струве-отца. Может быть, было чувство общей вины — они вместе несли ответственность за трагедию русской революции.

Токвиль и "Старый порядок"

В один из погожих весенних дней 1969 года я бродил по переулкам старой Москвы. Маршрут был традиционный: "Книжная лавка писателей" — "Пушкинская лавка" — "Букинист" в Столешниковом. Книжных сюрпризов не было, в "Пушкинской лавке" купил "Воспоминания" Токвиля. Токвиля знал достаточно хорошо, в моей библиотеке уже была книга "О демократии в Америке" и книга Сореля с биографическим очерком историка. Вдруг рядом стоящий незнакомый мужчина, типичный интеллигент — сходу оценил я — неожиданно вмешался в мой немногословный диалог с продавцом:

— А вы серьезно интересуетесь Токвилем? Мне Токвиль тоже интересен. Глаголев — преподаватель кафедры философии МГИМО.

— А я — бывший студент философского факультета МГУ.

— Я там учился, у меня много знакомых на факультете.

Разговорились. Владимир Сергеевич оказался очень интересным собеседником. Вспомнили знакомых профессоров и преподавателей.

— Самая зрелая и интересная работа Токвиля — "Старый порядок и революция". Она была переведена в начале 1900-х на русский, но с тех пор не переиздавалась. Токвиль неинтересен как политик, но интересен как политический мыслитель. На Западе его высоко ценят как идеолога политических свобод и гражданских прав. Написал он по меркам своего времени немного, но его мысли о французской революции и революциях вообще оригинальны по содержанию и блестящи по форме. Он классик французской литературы, как и другие историки Реставрации, Гизо или Тьер. Может быть, когда-нибудь я напишу книгу о нем, а почему бы нет?

Зайнтригованный этой встречей, я рванул в библиотеку. К моему удивлению и какому-то трудно объяснимому счастью, "Старый порядок" был не в спецхране, а в открытом доступе. Прочитал за один вечер, нашел массу аналогий с нашей революцией, мне сразу показалось, что в этой книге заключена какая-то большая тайна прошлого и ненавязчивый прогноз будущего. Никакой прогресс не может называться прогрессом, никакие административные и экономические реформы реформами, если они ущемляют политическую свободу и гражданские права. Будущее Европы Токвиль связывал с отказом от идеи централизации и тотального контроля государства над обществом, он первым указал на опасность писательских иллюзий, указывал и предостерегал против поспешного отказа от достижений старого порядка. Его политическим идеалом была реформистская модель развития общества, исключаяющая классовую борьбу в форме революций и социальных потрясений. Продуктом революции, как правило, становится еще более жесткая централизация, а следовательно, каждый шаг вперед в сторону иллюзорной социальной справедливости окунается двумя шагами назад в ущемлении Свободы.

Прошли годы. Доктор философских наук Владимир Сергеевич Глаголев на рубеже 80-90-х годов написал несколько действительно интересных книг, в том числе об истоках русской культуры и православия. Среди них книги об Алексисе Токвиле, пророке трагедий XX века, не было.

А жаль!

Зинаида ДОЛГОВА

Дерево для тети Тины

Время собирать камни. Время отдавать долги. А этот, безусловно, мой, и пока не оплаченный. Так что надо спешить: почти не осталось людей, которые могут подтвердить мои слова.

Харетина Кондратьевна Казанцева, о которой хочу рассказать, достойна звания "Праведник мира". И душа, о наличии которой все время спорят, настойчиво напоминает мне: "Поторопись!".

В августе 1962 года я в четвертый раз поступала в одесский университет. Перед аудиторией, за которой, возможно, решалась наша судьба, стояла высокая красивая девушка. Ее глаза не оставляли сомнения в том, что мы принадлежим к одной, нежелательной в этих стенах этнической группе. Так я и пошутила, знакомясь с ней.

Но девушка мягко ответила: "Я русская". Многие я не могу простить советской власти, но это стоит первым в списке ее злодеяний: Люба, которая никогда не лгала, Люба, давно знающая, что она удочерена и фактически спасена русской женщиной, вынуждена была сказать неправду. Мы были чужими, а ей очень хотелось учиться, пусть и на вечернем отделении.

Но много позже я поняла, что не это было главной причиной, заставившей ее так ответить. А живущая в Хайфе Любина подруга, Рахель Могилевская, недавно подтвердила мою догадку: Люба, которой соседи в семь лет рассказали правду ее появления в семье Казанцевых, никогда не говорила маме, что ее тайна — уже не тайна.

Нас было трое на том потоке, связанных чем-то незримо, но крепко. И нас любила группа. 6 лет мы, три еврейские заводилы (увы, и Мэри Городецкой-Трифоненко, спустя годы ставшей заведующей отделом восточной литературы самой большой библиотеки бывшего Советского Союза, в котором еврейская литература заняла достойное место, уже нет в живых), дружили. На заседание нашего домашнего кружка считали за честь попасть многие. Доцент Вера Федосеевна Руденко, наш руководитель диплома, так и ответила: "Посчитаю за честь". (Написала "честь" и подумала, что оно больше других определяет суть Любиного характера.) Мы ездили к Грину и к Волошину, когда еще были живы жены — хранительницы этих домов-музеев, мы обсуждали фильмы и книги, читали и переписывали самиздаты.

И меня, а еще раньше Рахель Могилевскую (в девичестве Фридман) поражаало, насколько Люба, которая была тоньше, интеллигентнее и, конечно, образованнее своей мамы, никогда не показывала это. Всегда прислушивалась к маминим советам и желаниям.

Сегодня все, что касается нашей с Любой общей молодости, литературных споров, хранится только в моей памяти. И в памяти Любиных сыновей, особенно младшего, который старается как можно больше узнать о маме.

Но есть то, что я хочу, чтобы узнали все. Это не только факт биографии Любы и ее мамы. Это факт нашей общей биографии.

Тогда в университетском коридоре я ответила: "Такие глаза сами говорят, кто их обладательница". Больше мы к этой теме не возвращались. Незачем было. Я уехала с мужем в Новосибирск. Летом приезжала и старалась навестить Любину маму — тетю Тину. Она уже болела.

И вот в один из дней Харетина Казанцева показала мне письмо-треугольник. В семье моих ровесников хранились такие письма. Только не все их отправителей могли потом перечитывать их и вспоминать... Вот и отправителя этого письма Антонина Казанцева не дождалась. И спасенную ею девочку — свою дочку — он ни разу не видел. А обращался в письме он к обеим.

Наверное, пора объяснить все. Ради этого и пишу. Мы сидели с тетей Тиной (так по привычке я и называла ее) в полутемной комнате на Франца Меринга, 59, она держала руку на извещении о гибели мужа и говорила, говорила, как будто чувствовала, что недолго осталось. Вспоминала, какой была веселой, какой была певуньей. Рассказывала, как любила детей, как создавала дворовый детский театр. Она торопилась, пропуская события, годы... А потом вдруг сказала: "Люба ведь не моя родная дочь. Но муж (она кивнула на треугольник) знал, что я взяла ее. Он тогда под Одессой воевал. Я перешла линию фронта. Да какая там линия? Вот это Одесса, а это чуть дальше. Пешком прошла, чтобы рассказать ему..."

В тот день (у меня и сейчас мурашки по коже) я узнала, что до Любы тетя Тина уже пыталась спасти еврейского ребенка, мальчика. Его бросила в подъезд в надежде, что выживет, женщину, которую с десятками других гнали в гетто. "Я прятала его на чердаке. Соседи знали, но никто не выдал. Умер маленький. Не спасла..." Любе в то время уже было 30 лет, а эта женщина слотнула, говоря о смерти чужого младенца. "И тогда я пошла в приют. Некоторых детей прятали соседи. Но потом отводили в приют под чужими именами. Боялись. "Настоящей фамилии девочки не знал никто. Так у меня появилась дочка. Когда я сказала мужу, он меня поддержал. Вот только Любушку он так и не увидел..."

Рахель Могилевская, та самая подруга детства, написала мне: "Всю жизнь я поражалась мудрости ребенка, который нашел в себе силы не сказать маме, что соседи, те самые соседи, которые не выдали ее ни румынам, ни немцам, рассказали ей, семилетней, кто она на самом деле. В тех самых выражениях. Чтобы знала свое место". Об этом мне уже много позже рассказала и Люба. А Рахель (или Люся, как называли ее в школе и во дворе) узнала от своей мамы, Кипнис Брониславы Григорьевны, которой сама Тина по какому-то наитию рассказала. И восьмилетняя Рахель никогда не говорила об этом с Любой. Наше поколение взрослело рано. И умело молчать.

Удивительно ли, что в школе и потом Люба дружила с еврейскими девочками? Как будто пыталась понять себя. И замуж вышла за еврея. Еще была жива Любина бабушка, мать тети Тины. Я прекрасно ее помню. Сухонькая старушка уже не вставала. Когда Люба привела будущего мужа в дом, бабушка сказала: "Выходи за него, Любушка. Бог знает, что делает. Это твоя судьба". Бабушка тоже не знала, что Любе все известно.

Я познакомилась Любу со своей приятельницей Антониной Соломоновной Бобович. Она была намного старше нас, но нас многое связывало. Однажды она осторожно не то сказала, не то спросила, почему Люба так похожа на еврейку. Поняв по моему выражению лица, что я знаю, почему, она только и сказала, что и ей известна правда. На мой немой вопрос ответила, что в переулке Чайковского живут ее знакомые, которые знали Антонину Казанцеву и историю спасения Любы. Мне бы тогда этих людей разыскать. Но мы были молодými, кто мог подумать, что Люба уйдет так рано... Да и о Праведниках мира я тогда не слышала, и Израиль во мне отзывался разве что гордостью родителей и их друзей, обозначенной в памяти рядом с датой: "1967 год".



В году, если не ошибаюсь, 1985-м я решила поехать в Меджибож. Там в гетто погибли родители отца и его сестра со всей семьей. Памятник жертвам поставили на деньги родственников. Я помню, как приходили к нам люди, собиравшие средства на памятник.

Я никогда не видела своих погибших родственников. Но это место я обязана была посетить.

Вы верите в случайности? Я — нет. Люба вызвалась поехать со мной.

Сегодня в Меджибоже не осталось ни одного еврея. Но тогда мы, пройдя несколько десятков метров, встретили старую женщину, бывшую учительницу. Показав дорогу, она вдруг спросила Любу:

— Из чьей ты семьи, деточка?

Люба побледнела. Фамилия "Казанцева" ничего не сказала старой учительнице. "Удивительное сходство!" — сказала она. — Просто вылитая..." И несколько раз оглянулась, уходя.

Я не остановила ее. Любе стало плохо, ее трясло так, что слышно было, как стучат зубы. Она долго не могла прийти в себя. Долго не могла успокоиться: почему хотя бы не спросила, на кого она так похожа?

В 1990 году я с семьей уехала в Израиль. Люба к тому времени уже несколько лет была в отказе. Вы не знаете, какие секреты могла выдать сотрудница "Комсомольской искры", занимающаяся письмами читателей? Даже если там были жалобы.

Люба начала работать санитаркой. И... поступила в Киевский пединститут на отделение сурдопедагогике. Когда произошла авария в Чернобыле, она была на весенней сессии, которая длилась несколько недель. Через год врачи обнаружили у Любы рак. Первые две операции она перенесла в Одессе. Институт при этом закончила. И работу свою сурдопедагогом полюбила.

Умению не сдаваться, преодолевать трудности, достойно нести материальные и физические невзгоды Люба научилась у своей матери Харетины Кондратьевны Казанцевой. Не было случая, чтобы меня не угостили в этом доме коржиками, состряпанными буквально по рецепту деда из "Колобка". Это умение пригодились Любе и в Израиле, когда, наконец, ее семья получила разрешение на выезд. В Москве в ОВИРе она рассказала свою историю. У нее было письменное свидетельство Рахелиной матери. Ей поверили. Сказали, что исправят записанное в 5-й графе.

В слезах Люба вышла на улицу, где ждали ее сыновья. Только тогда мальчишки узнали, что если бы не бабушка Тина, их могло бы и не быть. Но в Израиле оказалось, что в ОВИРе обманули. Любу записали русской. А она мечтала о дереве в честь своей матери на алее Праведников...

Начались обычные олимовские трудности: иврит, курсы сурдопедагогов. Она была самой перспективной на курсе. Дала блестящий зачетный урок. Впереди, казалось, только хорошее. Казалось. Но Чернобыль догнал Любу и на Земле Обетованной. Чтобы Любу похоронили на еврейском кладбище, мне пришлось на моем еще не окрепшем иврите рассказать всю ее историю в раввинатском суде.

В Москве не поверили, а седобородые раввины поверили.

И теплится надежда, что и в Яд-ва-Шем отнесутся с доверием к свидетельствам пока еще живущих людей, кому доподлинно известна эта история. И потянется к небу, куда, говорят, поднимаются души праведников, дерево в честь Праведницы мира Харетины Кондратьевны Казанцевой.

Евгений ДЕМЕНОК Притяжение Земли Обетованной

В ноябре 2001 года в Одесском художественном музее состоялась выставка "В предощущении чуда" — выставка работ одесских художников-евреев XIX–XX веков. По сути, выставка стала знаковой, ведь несмотря на большое количество художников-евреев в нашем городе, такая выставка не состоялась ни в советские годы, что неудивительно в силу реально существовавшего антисемитизма, ни в переломную эпоху революции и гражданской войны. Следует заметить, что такая выставка готовилась одесскими художниками-евреями еще в 1918-м году, но в силу разных причин ей не суждено было состояться. В итоге наши авторы участвовали в выставках художников-евреев, прошедших в Киеве, Москве и Петрограде в 1918–1919 годах.

Одесская художественная школа существует с середины XIX века, и практически все время творчество художников-евреев было в ней заметно и ощутимо, в том числе в различных творческих объединениях (ТЮРХ, Общество независимых, группа трансавангарда). Позволю себе просто перечислить имена: Леонид Пастернак, Соломон Кишиневский, Иосиф Браз, Борух (Борис) Эгиз, Иосиф Константиновский, Филипп Гоziасон, Михаил Соломонов, Амшей Нюренберг, Исаак Малик, Моисей Феферкорн, Владимир Баранов-Россинэ, Исаак Бродский, Юлий Бершадский, Михаил Гершенфельд, Сандро Фазини, Теофил Фраерман, Израиль Мексин, Дина Фрумина, Моисей Муцельмахер, Илья Шенкер, Людмила Токарева-Александрович, Лев Межберг, Моисей Черешня, Александр Фрейдин, Иосиф Островский, Люсьен Дульфан, Ефим Ладыженский, Григорий Палатников, Давид Тихолуз, Илья Зомб, Александр Ройтбурд.

Список неполон, но этих имен вполне достаточно, для того чтобы понять влияние и значение этих авторов на развитие изобразительного искусства не только в нашем городе, но и в целом ряде государств — от России до Франции и Израиля. Почему же одесситам пришлось ждать открытия такой выставки почти сто лет? На этот вопрос можно дать много ответов, но очевидным является один — антисемитизм в различных формах и проявлениях.

Как пишет в предисловии к каталогу выставки "В предощущении чуда" искусствовед, директор Музея истории евреев Одессы Михаил Рашковецкий, "Необходимо учитывать, что в силу различных причин, прежде всего, связанных с событиями Холокоста и проявлениями государственного антисемитизма в годы советской власти, многие работы художников-евреев первой половины XX века с ясно выраженной "еврейской тематикой" просто не сохранились. Можно предположить, что многие из них были сконцентрированы в одесском "1-м Всеукраинском музее еврейской культуры им. Менделеев Мойхер-Сфорима", богатейший художественный отдел которого исчез бесследно (в отличие от коллекций произведений декоративно-прикладного искусства культурного характера, которые относительно недавно были идентифицированы как часть собрания киевского Музея исторических ценностей Украины)".

Работам одесских художников конца XIX — начала XX века вообще не очень повезло. Сначала революция, затем гражданская война, череда смен власти в городе; через двадцать лет — румынская оккупация. Число исчезнувших, утраченных, уничтоженных работ измеряется сотнями, если не тысячами. В смутные и военные годы были разграблены не только частные коллекции — одесские музеи понесли ощутимые потери. И конечно же, работы с еврейской тематикой были в числе первых жертв. Сохраниться они могли только в других городах, в других странах. Несколько лет назад огромный подарок одесским любителям искусства преподнес Музей русского искусства в Рамат-Гане, в Израиле, — его куратор Леся Войскун организовала большую выставку работ "Одесских независимых", художников 1910–1920-х годов, чьи работы в Одессе почти полностью утеряны, но чудом сохранились в Израиле, — в 1919 году коллекционер Яков Перемен вывез их в Израиль на знаменитом пароходе "Руслан", на котором вместе с ним в Эрец-Исраэль на постоянное место жительства переехали и профессор истории Иосиф Клаузер, и архитектор Иегуда Мегидович, и художник Иосиф Константиновский, и многие другие. Недаром "Руслан" называли "Мэйфлауэром" сионизма. Почти 220 работ одесских художников удалось спасти Якову Перемену. И большинство из них — художники-евреи, самые яркие из них — Теофил Фраерман, Исаак Малик, Сандро Фазини, Амшей Нюренберг. Если бы не Перемен, работы наверняка бы исчезли.

Не только картины — самих авторов ждала трагическая судьба. В еврейском гетто в самом начале оккупации Одессы погиб Соломон Кишиневский, в фашистских концлагерях погибли уехавшие во Францию Сандро Фазини и Владимир Баранов-Россинэ.

Понятна поэтому радость любителей искусства, коллекционеров, галеристов, когда удастся собрать работы еврейских художников для отдельной выставки.

Потом будут новые выставки — выставка черно-белой графики художников-евреев во Всемирном клубе одесситов в 2007 году (были представлены работы Соломона Кишиневского, Сандро Фазини, Амшея Нюренберга, Филиппа Гоziасона, а также современных авторов одесской школы от Льва Межберга и Александра Фрейдина до Юрия Зильберберга и Григория Палатникова); выставка работ еврейских художников из коллекции Сергея Канивца в Еврейском культурном центре "Бейт-Гранд" в 2010-м (в основном, были представлены работы неизвестных еврейских художников, изображающих жителей местечка Меджибож, а также несколько работ Михаила Гершенфельда, Моисея Муцельмахера, Соломона Кишиневского, Бориса Эгиза); выставки работ Иосифа Островского, Давида Тихолуза, Софии Рашковой, Амшея Нюренберга. А еще до этого — в 1993-м, — в киевском Доме ху-

дожников состоялась выставка "Нисайон. Испытание. Еврейская тема в работах современных художников Украины", в которой приняли участие трое одесских художников-евреев: Люсьен Дульфан, Иосиф Островский и Александр Ройтбурд. После семидесяти лет тишины произошел прорыв.

И все же даже в эти годы замалчивания и запретов традиция не прерывалась. Художники-евреи становились преподавателями и передавали свои знания, мастерство, эстетические пристрастия ученикам. В Одессе сложилось несколько поколений таких преподавателей. Так, вернувшись после февральской революции из Парижа Теофил Фраерман и Михаил Гершенфельд учили Моисея Муцельмахера, Дину Фрумину, Людмилу Токареву-Александрович, Александра Постеля; те же, в свою очередь, были учителями Люсьена Дульфана, Льва Межберга, Ильи Шенкера, Иосифа Островского, Александра Фрейдина. В Одесском художественном училище преподавали Леонид Мучник и Юлий Бершадский.

Художники-евреи и еврейская тематика — вещи пересекающиеся, но не тождественные. Одесса всегда была городом интернациональным, светским, я бы даже сказал — эмансипированным. Одесские художники всегда стремились работать в общеευропейском ключе, и этому даже способствовали ограничения, существовавшие в Российской империи. Художникам-евреям было практически нереально попасть в Санкт-Петербургскую академию художеств, и многие из них после окончания Одесской рисовальной школы уезжали учиться в Мюнхен, Париж, Рим. Это те же Пастернак, Браз, Кишиневский, Фраерман, Нюренберг, Гершенфельд, Баранов-Россинэ, Фазини.

Поэтому еврейскую тематику мы можем встретить в работах далеко не всех художников-евреев. И тем не менее, всегда были и есть авторы, для которых эта тематика в творчестве является важной или даже ключевой.

Сразу оговорюсь, что буду трактовать понятие "еврейская тематика" максимально широко, никак не ограничивая его ни рамками еврейской традиции, ни принадлежностью сюжетов к библейским и каноническим. В данной статье еврейская тематика — это отображенный в работах художников широкий круг тем и сюжетов, так или иначе связанных с жизнью еврейского народа, будь то портреты выдающихся деятелей сионистского движения или бытовые сценки из жизни еврейских местечек.

Из всех одесских художников за последние сто лет я выбрал шесть (может быть, по числу лучшей звезды Давида?) наиболее, на мой взгляд, интересных и ярких авторов, широко использовавших еврейскую тематику в своих работах. Это Леонид Пастернак, Соломон Кишиневский, Теофил Фраерман, Амшей Нюренберг, Иосиф Островский и Александр Ройтбурд. О них я хочу рассказать подробнее.

Леонид Осипович (Аврахам Лейб, Ицхок) Пастернак широко известен сегодня, в первую очередь, как отец великого поэта Бориса Пастернака. Однако, даже бегло изучив его биографию, понимаешь, что масштаб личности отца сопоставим с масштабом личности сына. Родившись в 1862 году в Одессе и окончив в 1881 году Одесскую рисовальную школу, Леонид Пастернак вместе со своим другом Соломоном Кишиневским уезжает получать высшее художественное образование в Мюнхен, в Королевскую академию художеств, ведь в Санкт-Петербург попасть было нереально. Окончив в 1885 году академию, он возвращается в Одессу, и дальше карьера его развивается стремительно. Уже через четыре года его картину "Вести с фронта" покупает для своей галереи сам Третьяков. Пастернак дарит Третьякову еще одну работу — рисунок "Еврейка, вяжущая чулок". В том же 1889 году Леонид Осипович переезжает в Москву, где знакомится со Львом Толстым, делает его многочисленные портреты, иллюстрирует роман "Воскресение". Художник много работает, участвует в многочисленных выставках, но практически каждое лето проводит в Одессе. Леонид Осипович заводит близкое знакомство с Р.-М. Рильке, Хаимом-Нахманом Бяликом, чьи портреты будет писать много раз. Вообще, портреты Пастернака — это тема для отдельного исследования. Среди портретируемых им — Альберт Эйнштейн, Шауль Черниковский, Хаим Вейцман, Максим Горький, Лев Шестов.

Художник никогда не забывает о своем национальном происхождении. Уже в 1900-м году он принимает участие в подготовке литературно-художественного сборника в помощь евреям Бессарабской и южных губерний, пострадавших от голода. В 1918–1920 годах работает над книгой "Рембрандт и еврейство в его творчестве", которая выходит в 1923 году в Берлине, куда он переехал в 1921-м. В том же году в Берлине выходит его "Альбом портретов еврейских деятелей". В 1924-м он посещает Палестину, обратный путь в Берлин совершает с Х.-Н. Бяликом; в конце 1920-х выставляет в Тель-Авиве этюды и рисунки из этой поездке.

Интересная и характерная деталь — в 1894 году Леониду Пастернаку предложили должность профессора Московского училища живописи, ваяния и зодчества при условии, что он пройдет обряд крещения и примет православие. Пастернак отказался. В письме инспектору училища князю Львову он заявил: "Я вырос в еврейской семье и никогда не пойду на то, чтобы оставить еврейство для карьеры или вообще для улучшения своего социального положения". Впоследствии его все же утвердили в этом звании, и он оставался профессором училища почти четверть века. В 1905 году Пастернак получил звание академика живописи.

В 1936–37 годах художник ведет переговоры об организации в Москве юбилейной персональной выставки — к 75-летию со дня рождения. И хотя отобранные для выставки работы уже были перевезены в советское посольство в Берлине для отправки в Москву, вместо Москвы Пастернак уезжает в Оксфорд, где живет его младшая дочь Лидия. Он так и не вернулся (наверное, к счастью) в Советский Союз. Леонид Осипович Пастернак умер в 1945 году в Оксфорде.

Соломон Яковлевич Кишиневский родился в 1864 году в Одессе. В 18 лет он поступил в Одесскую рисовальную школу Общества изящных искусств; его учителями были

скульптор Иорини и пейзажист Бауэр — представители первого поколения одесских художников-педагогов. Окончив школу в 1883 году и получив за время учебы три медали, он продолжает образование в Мюнхенской академии, куда уезжает вместе с Пастернаком по той же причине — из-за невозможности продолжить обучение в российской столице в силу действовавших для евреев ограничений. После Мюнхена он учится в Вольной академии в Риме, а в 1888 году оканчивает Парижскую академию искусств. В том же году Соломон Кишиневский возвращается в Одессу. Активно работает и участвует в выставках ТПХВ, ТЮРХ, Общества независимых. В 1889 году пишет картину "Прошение", которую в 1893-м с передвижной выставки покупает Павел Третьяков. Соломон Кишиневский преподавал в Одесском художественном институте, иллюстрировал газету "Одесские новости", журнал "Театральное южное обозрение", сам писал статьи об искусстве и событиях в городе под псевдонимом Бенвенуто. Две масштабные выставки, приуроченные к 40- и 50-летию его художественной деятельности, прошли в Одессе соответственно в 1929 и 1938 годах; вторая выставка прошла в Музее русского и украинского искусства, на ней было представлено около 200 работ из государственных собраний и частных коллекций.

Еврейская тематика присутствует в работах Кишиневского на протяжении всей его творческой жизни. Его семья в 1871 году пострадала от погрома. Будущему художнику было тогда 9 лет, и он на всю жизнь запомнил этот ужас. Тему погрома он будет разрабатывать годами. И хотя большая работа так и не появилась на свет, многочисленные эскизы и наброски к ней дают представление о том, какой она планировалась. Художник начал работать над картиной в 1910-е годы. В этюдах он изобразил еврейских женщин, стариков, студентов из отрядов самообороны. Эскизы к картине находились в музеях революции Киева, Одессы и Херсона. На выставке 1938 года были представлены еще ряд этюдов к "Погрому", созданных в 1929–1938 годах. На ней же можно было увидеть множество портретов и сцен из жизни еврейских местечек: "Читающий еврей" (1905), "Портрет Моргулиса" (1904), "Молящийся еврей", "Два еврея и еврейка", "Еврей портной" (все 1905 г.), "Раввин" (1911).

"Одесские новости" от 17 (30) ноября 1913 года писали, что художник Кишиневский работал над проектом памятника в память печально знаменитого "дела Бейлиса".

Соломон Яковлевич Кишиневский остался в оккупированной фашистами Одессе и погиб в гетто в 1941–42 гг.

Теофил Борисович Фраерман — личность в одесских художественных кругах легендарная. Великолепный живописец и педагог, он стал Учителем для таких знаковых художников в масштабе не только Одессы, но и всей страны, как Евгений Кибрик, Юрий Егоров, Олег Соколов, Дина Фрумина, Илья Шенкер. Валентин Хрущ, который учиться у него не успел в силу возраста, посетив посмертную выставку Фраермана, заявил, что тоже считает себя его учеником. Почти все ученики оставили записки об учителе, в которых пишут о нем с огромным уважением и теплотой.

Теофил Фраерман родился в 1883 году в Бердичеве, в 14 лет приехал в Одессу и начал обучение в Одесской рисовальной школе, после которой в 1897-м поступил в училище — напрямую к Кириаку Константиновичу Костанди. Окончив в 1902 году училище, он повторяет путь большинства талантливых художников-евреев того времени — уезжает учиться в Мюнхен в школу Ашбе, а затем в Париж, где живет восемь лет — с 1906 по 1914 год. Леся Войскун в предисловии к каталогу знаменитой израильской выставки "Одесских независимых" пишет, что Фраерман учился в парижской художественной школе (L'Ecole des Beaux-Art) у Габриэля Феррье, "известного своим строгим академическим методом обучения".

В 1908 художник впервые выставляется на Осеннем салоне и настолько быстро приобретает авторитет в художественной среде, что в следующем году уже становится членом жюри этого салона. Дружит с Матиссом, общается с Роденом, работает с Дега, выставляется в Салоне независимых. В 1914 Фраерман переезжает в Лондон, а в 1917 "имеет неосторожность" (как говорила Дина Михайловна Фрумина) вернуться в Одессу — мама тяжело больна. Думал, что ненадолго, — оказалось, что навсегда. В художественной Одессе того времени основная линия напряжения проходила между традиционалистами из ТЮРХа и молодыми "независимыми". Фраерман примыкает к независимым, сближается с Нюренбергом, Гершенфельдом, участвует в совместных выставках. Тогда же появляются идеи, многим из которых не суждено было сбыться: эмигрировать в Эрец-Исраэль и создать там академию современного искусства; организовать в Одессе выставку работ еврейских художников наподобие выставок киевской "Культур-Лиги".

И все же организаторский талант Теофила Борисовича нашел себе применение — он организует Народный художественный музей, Музей еврейской культуры, по некоторым сведениям — Музей нового искусства. Галерея старинной живописи Музея народного искусства стала потом Одесским музеем западного и восточного искусства, Теофил Борисович становится его первым директором. В квартире при музее он прожил всю свою жизнь, за исключением военного периода 1941–1944 годов, когда он руководил эвакуацией экспонатов музея в Уфу и после освобождения Одессы вновь устраивал экспозицию в родных стенах. Фраерман много преподавал — в одесской художественной профшколе, институте ИЗО (позже ставшем художественным училищем), строительном институте; получает звание профессора.

Но — европейская школа пробивается сквозь каноны соцреализма. Постоянные упреки в формализме приводят к тому, что в 1949 году его отстраняют от преподавания. До нас дошло совсем немного работ художника тех лет, и в них нет ярких красок раннего Фраермана. И только за год перед смертью, в период хрущевского оттепели, мастер возвращается к самому себе, к своему стилю, и делает серию гуа-

шей, в которых четко видна европейская, парижская школа. Эти работы экспонировались на посмертной выставке художника в 1957 году.

Рассказывает Илья Шенкер, учившийся у Теофила Борисовича: "Не все оказались в эмиграции, Теофил Фраерман жил в Одессе, и я имел счастье у него учиться. Советская власть была ему поперек горла. Он много рассказывал о своих путешествиях по Европе и жизни в Париже. Италия и Франция для него были художественным раем. Теофил Фраерман тепло относился к студентам. Это был настоящий интеллигент без всяких копеечных интересов. Настоящий человек. Так что в Одессе моей молодости живо чувствовалась художественная атмосфера, была артистическая среда, и существовали традиции".

По мнению Михаила Рашковецкого, ученики Фраермана (официальные и неофициальные) смогли сохранить нечто такое, что позволило искусствоведам впоследствии говорить о специфической "одесской школе" живописи (в том числе — андеграунда) в 1960-70-е годы. Во многом благодаря ему в Одессе не умерла окончательно, теплилась художественная культура начала XX века.

До обидного мало работ Теофила Борисовича дошло до нас. Только благодаря репродуцированию на открытках мы можем видеть, как выглядел его знаменитый "Еврейский портной". Другие работы с еврейской тематикой до нас, увы, не дошли. В Музее истории евреев Одессы экспонируется пастельный "Портрет неизвестного" 1925 года. Огромным открытием стали 12 ранних работ мастера, сохранившихся в Израиле в коллекции Якова Перемена, о которой я уже много упоминал в этой статье. Работы выполнены в стиле "Бубнового вала". Среди них — "Голова Христа", "Пророк", "Голова Иоанна", "Жираф" и другие.

Будем надеяться, что это — не последние находки, ведь интерес к личности и творчеству Теофила Борисовича Фраермана сейчас очень высок.

Амшей Маркович Нюренберг родился в Елисаветграде в 1887 году. С 1904 по 1910 он учился в Одесском художественном училище у Кириака Константиновича Костанди, затем уехал продолжать обучение в Париж, откуда вернулся в Одессу в 1913 году из-за проблем со здоровьем. Амшей Нюренберг — человек удивительной судьбы, о его жизни можно снимать фильмы и писать приключенческие романы. Он делил мастерскую в знаменитом парижском "Улье" с Марком Шагалом, с которым потом поддерживал отношения всю жизнь; был активным участником одесского Общества независимых и даже собирался одно время уехать вместе с Яковом Переменом в Палестину и организовать там академию современного искусства; горячо встретил революцию и в 1917 руководил в Одессе Комитетом по охране памятников; бежал от денкинцев и много раз был на грани жизни и смерти; в начале 20-х работал у Маяковского в "Окнах РОСТА"; преподавал во ВХУТЕМАСе; среди его ближайших знакомых — Бабель, Ильф, Фазини, Петр Кончаловский, Грабарь, Татлин, Лентулов.

Нюренберг был не только талантливым художником — он оставил великолепные заметки о своей жизни, которые недавно опубликовала его внучка Ольга Танган-Трифоновна (писатель Юрий Трифонов был зятем Нюренберга). В этих заметках раскрывается его характер — характер бодрого, неутомимого оптимиста. Амшей Нюренберг умер в Москве в возрасте 91 года, пережив жену и дочь, и похоронен на Ваганьковском кладбище. Во Всемирном клубе одесситов в 2009 году состоялась выставка копий его графических работ на темы иудаики, которые привезла в Одессу Ольга Танган.

Еврейская тематика присутствует в творчестве Нюренберга постоянно. Об этом свидетельствует хронология работ, многие из которых были выставлены в Одессе: "Уличный торговец и музыкант" (1908), большая серия рисунков из Винницы, датируемых 1926-1929 годами: "После погрома", "Учитель из Винницы", "Часовых дел мастер", "Старик за столом"; 1936 годом датирован рисунок "Отдыхающая работница еврейского колхоза (колонии)", 1938-м — "Ерусалимский старожил", 1943-м — "Портной-философ". В 1963 году Амшей Нюренберг ездил в Переяслав, на родину Шолом-Алейхе. Этим же годом датирован целый альбом по мотивам его творчества, одна из работ, "Шолом-Алейхем в окружении своих героев", репродуцирована в книге воспоминаний художника "Амшей Нюренберг. Одесса — Париж — Москва", изданной в Москве и Иерусалиме в 2010 году.

Новая волна интереса к творчеству Амшея Нюренберга появилась в 2006 году, когда в Израиле открылась выставка работ "Одесских парижан", привезенных в Эрец-Исраэль Яковом Переменом. 22 апреля 2010 года треть этой коллекции (86 работ) на торгах аукционного дома "Сотбис" в Нью-Йорке купил Фонд украинского авангардного искусства, одним из основателей которого является киевский коллекционер Андрей Адамовский. В июне 2011 года Русско-американский фонд культуры в рамках нью-йоркского фестиваля "Наше наследие" прошла выставка "Искусство украинского авангарда: Одесские парижане". Как писалось в анонсе, "Выставка из коллекции Бориса Фуксмана, Андрея Адамовского и Александра Сусленского представляет работы членов "Общества независимых художников" — авангардной группы, основанной в Одессе в 1910-е гг.". Так что интерес к работам Нюренберга и других одесских независимых сегодня очень большой.

Кстати, единственный портрет Якова Перемена в форме дружеского шаржа был выполнен именно по эскизу Амшея Нюренберга.

Имя *Иосифа Островского* возникает первым, когда думаешь об одесских художниках нашего времени, разрабатывавших тему иудаики. Ведь если у большинства остальных художников-евреев эта тема присутствовала в творчестве в большей или меньшей степени, то для Иосифа Островского она стала ключевой, основополагающей, центральной. Еврейский цикл конца 70-х — начала 90-х годов стал стержневым в его творчестве. Несколько сотен его живописных и графических работ находятся сейчас в музеях и частных коллекциях Украины, России, Израиля, США, Японии, Италии и других стран. Достаточно назвать имена тех, в чьих коллекциях находились и находятся работы Островского, чтобы понять уровень его популярности: Аркадий и Константин Райкины, Петр Тодоровский, Зиновий Гердт, Михаил Козаков, Александр Кайдановский, Михаил Жванецкий. Забавный факт — во времена массовой эмиграции одесситов в начале 90-х их более расторопные родственники и друзья писали "оттуда": "Ничего лишнего сюда не бери. Вези льняное постельное белье и Островского".

Иосиф Меерович Островский родился в 1935 году неподалеку от Шепетовки, в еврейском местечке Судилково. Многие жители шепетовской окраины соблюдали традиции, праздновали шабат, ходили в синагогу; мужчины изучали Тору и Талмуд. Мама Иосифа следила за кашрутом и зажигала субботние свечи.

В пятнадцатилетнем возрасте Островский уезжает в Одессу и поступает в Одесское художественное училище. Его учителями были Дина Михайловна Фрумина и Любовь Иосифовна Токарева-Александрович. После службы в армии он возвращается в Одессу и живет в нашем городе до 1989 года, без малого сорок лет. Талантливый художник и отличный рисовальщик, Иосиф Островский довольно быстро получает признание, а с ним и госзаказы. В марте 1978 года в Одесском музее западного и восточного искусства состоялась его большая персональная выставка, на которой экспонировалось около 130 работ. В работах было четко видно, как художник, пытаясь выйти за рамки "официоза", искал свой язык, свою тематику, словно бы перебирая стили (южнорусский импрессионизм, советский "суровый стиль") и отказываясь от них. В это же время наряду с "официальными" работами он начинает еврейский цикл, который писал "в стол", никому не показывая. Однажды в 1983-м он пригласил в мастерскую "на пару часов"



А. Ройтбурд. Хасид, читающий Тору

своего друга, знаменитого одесского журналиста Евгения Михайловича Голубовского, и показал эти работы. "Мы пробыли в мастерской целый день, — пишет Голубовский, — двух часов не хватило: я познавал другого Островского, продолжателя традиций еврейской живописи, мудрого мастера, чей внутренний свет так созвучен Михоэлсу, Зускину, тому же Михаилу Коцюбинскому. Признаюсь, посмотрев эту галерею, я сразу решил — необходима выставка, нужно ломать стереотип "советского Островского", нужно показать, что и после работ Фраермана 20-х годов существовала в Одессе еврейская живопись, менее формально изысканная, но более теплая, очеловеченная".

Голубовский знакомит Островского с жившим в Одессе еврейским писателем Нотэ Лурье, который был членом редколлегии единственного тогда в СССР еврейского журнала "Советише Геймланд", и в 1984-м в редакции журнала в Москве состоялась первая выставка работ "еврейского цикла" художника. Это было довольно смелым шагом — ведь за несколько лет до этого в мастерскую художника наведальсь "искусствоведы в штатском", интересуюсь как раз работами еврейского цикла. И только благодаря председателю одесского Союза художников Вячеславу Божию, который убедил уполномоченных сотрудников КГБ в том, что эти работы "национальные по форме и социалистические по содержанию", автора не тронули. А в 1988 уже в Одесском художественном музее состоялась "Выставка четырех": Олега Волошинова, Иосифа Островского, Юрия Коваленко и Евгения Рахманина. Островский показал на выставке 30 работ — все из "еврейского" цикла. Он вышел из "подполья".

Михаил Рашковецкий в статье "Еврейские сны" Иосифа Островского пишет: "Еврейский цикл" конца 1970-х — начала 1990-х, безусловно, занимает главное место в творчестве И. Островского. Именно в свете работ этого периода предшествующие этапы его творческого пути обретают особый смысл и ценность.

Островский сравнивал воспроизведенные им на холсте образы со снами, с воспоминаниями, всплывающими из такого "далека", которое несопоставимо с конкретными временными границами детских впечатлений.

Это — "сны-воспоминания" о самом себе, о своей подлинной человеческой сути. Они долгое время мучили Островского, не давали ему покоя. Без творческого воплощения таких снов он не мог по-настоящему состояться как художник".

В 1989 году Иосиф Островский с семьей переезжает в Израиль. В Израиле он продолжает много работать, выставляться, становится главным художником города Сдерота. Но здоровье — основная причина переезда — продолжает ухудшаться. Израильские врачи подарили художнику четыре года жизни. В 1993 году в возрасте 58 лет Иосиф Островский умер.

Александр Ройтбурд — самый, пожалуй, знаменитый сегодня одесский художник, живущий, правда, большей частью в Киеве. Да что одесский — украинский. До недавнего времени проданная на аукционе "Филипп де Пюри" в Лондоне его работа "Гуд бай, Караваджо" держала ценовую палку первенства среди работ украинских мастеров.

Александр Анатольевич Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе и в 1983-м окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института, где учителем его был знаменитый Валерий Арутюнович Гегамян. В конце 80-х вместе со своими однокурсниками Василием Рябенко и Сергеем Лыковым, а также Еленой Некрасовой, он создает группу трансавангарда, которая сразу стала заметным явлением в городе. В начале 90-х Александр Ройтбурд с Михаилом Рашковецким создают в Одессе ассоциацию "Новое искусство", деятельность которой в итоге привела к открытию в нашем городе Центра современного искусства Сороса, где художник был председателем наблюдательного совета. В начале 2000-х он руководит галереей Гельмана в Киеве — самой, пожалуй, заметной в те годы выставочной площадкой в украинской столице. Если еще добавит, что работы Александра Ройтбурда находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке, масштаб художника становится понятным.

Сам художник в беседе со мной подчеркнул, что он практически не работает с еврейской тематикой как с каноном, потому что любой канон слишком узок. Скорее нужно говорить о еврейской метафизике, мифологии и поэтике в его работах. А уж они присутствуют в творчестве Александра Ройтбурда сполна. Достаточно посмотреть на очень любимую мной знаменитую его работу 1988 года "Сидящий пророк", которая была отмечена премией Академии художеств СССР и закуплена в коллекцию Одесского художественного музея, что для работы столь молодого художника в те времена было делом невиданным. И в 90-е, и в 2000-е множество его работ пронизаны этой еврейской поэтикой, я бы даже сказал — еврейским мироощущением. Да и названия говорят сами за себя — например, работа 2010 года "Еврейская невеста Рембрандта". В том же году художник начал серию "Халой-мес", самой яркой, на мой взгляд, работой из которой является "Bon Jour, Monsieur Cohen" — она была выставлена в конце года в одесской галерее "ХудПромо". А уже в начале 2011 года начата новая серия, "Если в кране нет воды..."

"Если в кране нет воды, значит... — улыбается Ройтбурд и продолжает известное одесское четверостишие на свой манер. — Значит, Эрнест Хемингуэй в детстве тоже был еврей. Я решил развить тему ксенофилии. Только не путайте с ксенофобией. Ксенофобия — это страх, а ксенофилия — влечение и любовь". Идея серии — изобразить известных персонажей мировой культуры (и не только) так, как если бы они были евреями. Первым стал Александр Сергеевич Пушкин, за ним последовали Лев Толстой, Федор Достоевский, Энди Уорхол, Тарас Шевченко и "Битлз". "Я беру попсовых персонажей, фамилии которых на слуху. Главная фишка — отсутствие среди героев настоящих евреев, а в Одессе среди таковых — большинство известных личностей. К примеру, зачем надевать на того же Жванецкого ермолку, если и так ермолки надеть некуда". В планах — 15 портретов, а там — как пойдет.

Новые подходы, новые приемы, новая эстетика — и старые, как мир, тематика и мироощущение.

Этими шестью именами отнюдь не исчерпывается перечень одесских художников, в чьем творчестве присутствует еврейская тематика. Можно вспомнить еще Иосифа Константиновского (Жозефа Константа), родившегося в семье одесситов в Яффе, окончившего Одесскую рисовальную школу и продолжившего образование в Париже, друга Амшея Нюренберга, вместе с которым в первые дни после прихода в Одессу большевиков он вошел в состав бригады революционных художников, в которой вместе с ними участвовали Максимилиан Волошин, Александра Экстер, Сандро Фазини... Отец и брат Иосифа погибли во время погрома в Елисаветграде в 1919 году. Это настолько повлияло на художника, что в том же году на пароходе "Руслан" он уплывает в Эрец-Исраэль и уже никогда не вернется в советскую Россию. Константиновский после 1923 года жил в Париже и под псевдонимом Мишель Матвеев написал несколько широко известных книг, главная из которых — роман "Загнанные" (1933), переведенный на шесть языков, где речь идет о жертвах погрома и дальнейшей судьбе уцелевших после него.

Другой одессит — Ефим Ладыженский, много лет проживший в Москве, а потом эмигрировавший в Израиль, создал цикл иллюстраций к произведениям Исаака Бабеля, в том числе иллюстрации к "Конармии". Книга с его иллюстрациями, изданная по инициативе Всемирного клуба одесситов, недавно вышла из печати в Одессе. В 60-е годы Ладыженский создал цикл произведений "Одесса моего детства", среди которых множество иллюстраций к жизни тогдашней "еврейской" Одессы.

Отчетливо пронизаны еврейской поэтикой, еврейским мироощущением произведения работающие сейчас в нашем городе Моисея Черешни и Юрия Зильберберга. В конце 2010 ушел из жизни Давид Тихолуз, подписывавший свои картины так: "Давид Тихолуз. Одесит, художник, еврей". Долгие годы он не был известен широкой публике, и выставки его работ, прошедшие во Всемирном клубе одесситов и затем в Одесском музее западного и восточного искусства, стали одним из самых ярких открытий последних лет.

Традиция "еврейской" живописи в Одессе жива. Традиция продолжается.

Соломон КИШИНЕВСКИЙ

Мои натурщики

Все картины написаны непосредственно с натуры. Я стараюсь идти по стопам великих мастеров. Самые великие не приступали к картинам, не проверив свои силы, не изучив досконально с натуры с карандашом в руках сюжет будущей своей картины. Свое "Прощение" я писал в самом кабаке "Спор", в так называвшемся "дворянском" отделении трактира. Четыре мои картины под названием "В кутузке" писал на месте, то есть в местах заключения при ... царских полицейских участках. Все типы, изображенные мною на многих картинах, написаны с натуры. Измышление, писание по памяти в начале моей художественной деятельности не практиковалось. Интерес к красотам природы принуждал меня стать лицом к самой правде...

Мой первый натурщик

Первый мой натурщик был маленький пушистый щенок. Два темных пятнышка его живых глазенок и черный его носик красиво выделялись на белой красивой мордочке. Я тогда еще не был воспитанником нашей Одесской рисовальной школы. Давно я уже жаждал рисовать с натуры, рвался передать живую действительность. Но я все же по робости своей не решался это делать, будучи не уверен в своем умении, в своих силах. Но красота прекрасного беленького щенка — превозмогла мою робость. Я храбро принялся за работу. Но работа моя не спорилась. Мой "натурщик" не хотел понимать, что раз "художник" его рисует, то он должен быть как бы бездыханным или, по крайней мере, оставался спокойным! Животное никак не хотело задержаться на одном месте. Моя старшая сестра, в замужестве Татьяна Гольдеман, сильно желавшая, чтобы я стал художником, всячески старалась здесь мне помочь и не допускала, чтобы "натурщик" ушел от "сеанса", но это мне мало помогало. Животное все вырывалось из рук сестры, все стремилось уйти.

Желая все-таки закончить начатую работу, я нашел средство заставить моего "натурщика" спокойно позировать. У меня блеснула мысль: что, если я заставлю моего "натурщика", щенка, выпить немного водки? Мой натурщик, конечно, благодаря силе алкоголя одурманится и наверное заснет! Ведь пьяница ... немного — засыпает после. Влив в блюдечко немного молока, влил рюмку водки. Животное, почуяв молоко, сейчас же его вылакало. Несколько раз чихнув, мой молодой "натурщик" немедленно же заснул. Я торжествовал. Теперь я уже мог спокойно и беспрепятственно продолжать свою работу. Во время сна животное сильно вздрагивало и визжало. Водка жгла его молодые внутренности. Домашние сильно беспокоились за собаку и называли меня "извергом". Но я себе и в ус не дул, мне некогда было думать, в каком состоянии находится молодое четвероногое, лишь бы оно спокойно лежало, лишь бы я смог без помех окончить свою работу.

Мухи сильно беспокоили животное. Моя сестра взяла веер и отгоняла назойливых насекомых от бедного моего "подгулявшего натурщика". Я благополучно закончил свою работу, еще задолго до того, как животное проснулось после своего невольного опьянения. Вот при каких обстоятельствах я впервые имел "натурщика", вот при каких обстоятельствах я впервые рисовал с натуры.

"Мог быть человеком"

Задумав написать какую-нибудь картину, я устанавливал в своей мастерской на мольберте холст и, приготовив краски, оставлял свою мастерскую и выходил на "натуру". В большинстве случаев искал "натуру" на толкучке, в порту или на базарных площадях. По дороге я внимательно следил за всеми проходящими на улице типами. Побывав в указанных местах, я ничего не нашел для себя подходящего и разочарованный, огорченный, возвращался домой. Под самым большим пролетом моста, что на Греческой улице, я увидел в одном из домов ресторанчик. "Зайду на счастье", — подумал я.

Войдя туда, я увидел, что это был кабак самого обыкновенного пошиба, и притом большой, угрюмый, пустой и темный. В одном из углов за столом сидел какой-то человек. Взглянув на него, я понял, что это то, что так долго искал. Приблизившись к сидящему за столом и бросив на

него беглый взгляд, я увидел, что не ошибся. Я должен был употребить большую силу воли, чтобы не выдать сидящему передо мною субъекту, будущему моему натурщику, герою моей картины, сильное волнение и радость, овладевшую мною. Я задумал написать опустившегося дворянина, который еще сохранил кой-какой отпечаток бывшего величия. Презрение этого столпа трона к окружающей его обстановке должно было отразиться в фигуре героя моей будущей картины.

— Есть ли у вас время? — спросил я субъекта.
— Есть! — ответил он мне сиплым басом.
— Пойдемте со мною.
Мы вышли из кабака.
— Идемте ко мне, у меня есть для вас работа, — обратился я к нему.
— Но позвольте, — произнес субъект, пытаясь меня оглядывая, — я, видите ли, не заплачу за водку.

— Сколько вам нужно? — спросил я.
— Двадцать копеек, — был ответ.
Я дал ему просимую сумму. Расплатившись, он вышел ко мне на улицу.
— Теперь пойдемте, — сказал я.
— Но позвольте, за чем-с?
— У меня есть для вас работа, вы же, наверно, умеете писать?
— Да-с, умею.
— Вы напишете мне прощение.
— Так пожалуйста, в ресторан-с, — предложил он мне.

— Нет, — ответил я. — Это нужно писать только у меня дома.

— Гм, — произнес мой будущий натурщик, подозрительно меня оглядывая, — может, какое-нибудь "уголовное", то я не могу.

Субъект долго не решался отправиться со мной — но, наконец, согласился. Сказать ему правду, для чего он мне действительно нужен, я не решался, так как он мог бы мне и отказать, видя в моем предложении его нарисовать только одну насмешку, поэтому я решил сообщить ему, для чего он мне нужен, только в мастерской. Я кликнул извозчика. По дороге мой натурщик все допытывался, для чего я его приглашаю к себе.

— Может, какой-нибудь конфуз? То, видите ли, я боюсь, чтобы меня не побили.

Я успокоил своего спутника, объяснив ему, что в деле, в котором он мне нужен, никакого "конфуза" нет. Несколько кварталов мы проехали молча.

— Стой, стой, стой! — вдруг прокричал пропойца извозчику.

— Что такое? — спросил я.
— Выпьем по рюмочке, — предложил он мне. Оказывается, что он по дороге увидел. Здесь я уже не вытерпел и приказал извозчику не останавливаться.

Наконец мы приехали. Не без робости субъект вошел ко мне в мастерскую, но увидя на стенах картины, он быстро сообразил, в чем дело, и что именно я от него хочу.

— Ага! Понимаю, понимаю! Портрет! — произнес он, указывая на свое лицо. — Хорошо! Рисуйте, рисуйте.

Подойдя к зеркалу, он стал себя осматривать и охорашиваться. Долго от зеркала не отходил. Я за ним наблюдал.

— Когда-то был человеком, а теперь дрянный!!! — произнес он.

Благодаря этой неожиданной самоаттестации я и нашел название для своей картины, а именно — "Мог быть человеком". Без того чтобы не выпить, мой новый натурщик никак не мог позировать:

— Баба с ног свалит, коли не выпью, — говорил он.

Перед каждым сеансом я должен был заботиться о "выпивке" для него. По окончании моей картины он как-то зашел ко мне, чтобы меня навестить, но, верней, чтобы получить малую толику. Вместо обыкновенной фуражки с красным околышем, которую он носил с какой-то важностью, у него на голове была какая-то шляпа.

— Это вы откуда достали? — спросил я его.
— Это, извольте видеть, мне барон фон Гретштерн подарил. Барон этот, видите, чин, фон — имя, а Гретштерн — фамилия! Барон фон Гретштерн!

Я встретил его через год сильно опустившимся. Впоследствии я узнал, что он попал в больницу, в которой и умер от белой горячки. Картины "Мог быть человеком" и "Инвалид" купил у меня бывший лорд-мэр города Г.Г. Марзали, в галерее картин которого они и находились. Я узнал после, что он желал подарить их в Академию художеств в Афинах.

Обе картины писаны пастельными красками и в натуральной величине по колену. Это были первые картины в Одессе, писанные пастельными красками. Мне было поставлено в укор, почему фигура героя моей картины "Мог быть

человеком" вырисовывается на гладком и чистом белом фоне. Не считая гладкий и чистый фон за ошибку, я, тем не менее, написал еще одну такую картину, но уже на фоне кабацкой обстановки. Этот новый тип здесь уже другой, и написан уже не "en-face", как это я сделал на первой картине, а в три четверти. Вторая эта картина была выставлена на "Передвижной". Первая же моя картина экспонировалась на II выставке картин "Общества Юго-Западных художников" в Одессе. Повторил же я своего "Мог быть человеком", не для того чтобы исправить якобы ошибку, а только для того, чтобы первая моя картина, как написанная пастельными красками, не удобна была для передвижения в столичные выставки картин. Да и притом из галереи Марзали трудно было достать картины, чтобы послать их на "Передвижную".

Мой новый натурщик для второй картины по внутреннему своему облику был именно тот гордый опустившийся дворянин, который не разрешал с собою много разговаривать, а презрительно относился ко всему... Водки он не пил. Сколько я с ним ни заговаривал, как я ни старался, чтобы от него что-нибудь узнать, мне все это никак не удавалось. По-видимому, он пережил какую-то драму и не любил о ней распространяться.

"Инвалид"

В "pendant" к моей картине "Мог быть человеком" я еще написал другую картину, под названием "Инвалид". Картина эта служит, как тип холерика, контрастом картины моей "Мог быть человеком". Натурщиком для второй картины был на самом деле инвалид, и находился на иждивении в инвалидном доме. Я его нашел на базаре. Я его увидел с шарфиком на шее, с ботфортами под мышками, с узелком в одной руке и с дубинкою в другой, так я его изобразил. Я подошел к нему и предложил поехать ко мне домой "для дела". Не доверяя незнакомцу, он не решился следовать за мной. Толпа празднующаяся обступила нас.

— Ты к нему не хори, это шарлатан, — слышно было вокруг.

Но я пристыдил старика, говоря что "кавалер" не должен трусить. Это помогло, и он сел со мной на дрожки.

— А, — сказал он, зайдя ко мне в мастерскую, — а! Так вы, значит, есть "дорогой человек"! Как же! Знаю! Знаю! Вот у нас в полку, как я служил, "фотографчик" был, так всех нас как есть снял! Да! Даже орлы на пуговицах, и те все видны были! Как же! Как же! Знаю! Знаю!

Мой натурщик был человеком непьющим и позировал охотно и исправно, но много говорил о фараонах, и что при них рос уже чеснок. Когда он пил у меня чай, то никогда не пользовался моим сахаром, а всегда имел свой собственный, уже нарубленный на маленькие кусочки. Крошки хлеба, оставшиеся на столе, он сгребал в свою ладонь и клал их себе в карман.

Окончив свою картину, я спустя некоторое время пожелал его навестить, но в инвалидном доме его уже не было. Мне сообщили, что он ушел из убежища, не выдержал, ушел от царившей там скуки и однообразия, и где-то торгует семечками.

"Иванов"

На XXII-й Передвижной выставке картин была представлена моя картина, писанная пастельными красками, под названием "На службу". Субъект, позировавший мне для моей картины, был "поэт" по имени Иванов, на которого обратил мое внимание сотрудник газеты "Одесский листок" А.И. Черкас. Написанные им стихи печатал сам и всегда держал их в своем портфеле, никогда с ним не расставаясь. Свои "произведения" Иванов предлагал знакомым, причем установленной платы за его "произведения" у него не было. Кто что даст, тем и был доволен. Кроме "поэтических" произведений Иванов писал еще поздравительные стихотворения.

Получив его адрес от Черкаса, я немедленно отправился к нему на квартиру. "Плюшкин!" — подумал я, увидев его среди его домашней обстановки. Такой же старый порванный халат, чем-то опоясанный, на голове парусиновый картуз козырьком назад, на конце носа всегда висела неизменная капля. В углу комнаты "плюшкинская куча" коробочек от спичек и папирос, старые пуговицы, и вообще, всякая дрянь. Кровати он не имел. Вместо нее доски, положенные на стулья, сверху них старый прорвавшийся матрац, поверх него какое-то тряпье. На дверцах платяного шкафа в чинном порядке были развешаны многочисленные галстуки — "подарки его поклонников", как он говорил.

Разница между Ивановым и гоголевским Плюшкиным была только же, что герой "Мертвых душ" был богат, а мой натурщик был беден. Иванов был очень набожен и часто молился перед образами. Несмотря на преклонный возраст, был сильно занят собой и частенько спрашивал меня, надеть ли ему тот или другой галстук, ту или другую шляпу. О себе и своем "поэтическом даре" был очень высокого мнения. Когда, просматривая произведения, я указывал ему на строки, "заимствованные" у наших классиков, он спокойно отвечал: "Это нам позволено!". Стоило заговорить с Ивановым о каком-либо бывшем торжестве, он сейчас же отвечал с важностью, что кроме муниципалитета города и других начальствующих лиц был приглашен и он.

У Иванова была любимая собака. Конечно, он дал ей кличку собаки тургеневского Ермолая — Валетки. Обращаясь к своему четырехногому другу, Иванов всегда прибегал к ...:

— Валет! ...! Валет! Какой одеть жилет? Или:
— Валет! Хочешь котлет? Валет! Живи много лет!

Без Валетки Иванов никуда не выходил. Во время позировки двойник из "Записок охотника" часто мешал мне работать, будучи чрезвычайно неспокойным. Я предлагал Иванову приходиться ко мне на сеансы без Валетки, — но он не соглашался. Иванов был немислим без Валетки, Валетка была немислима без своего патрона.

Иванов, позировавший мне, был неаккуратен, несколько раз он совсем не приходил на сеанс. Мне ничего не оставалось делать, как приходиться за ним, чтобы привозить его в мастерскую на сеанс. Как-то раз после одной из Валеткиных многочисленных проказ на нее налетела целая свора злощих и презлющих собак, и окружив ее со всех сторон, стали ее яростно трепать и терзать. "Мой поэт", увидев своего друга в таком затруднительном и опасном положении, сильно поблелел и стремительно поспешил к нему на помощь. Я побежал за ним. Валетка стояла среди атаковавших злощих собак. Не двигаясь, с опущенной головой. Попробуй она защищаться, злощие собаки загрызли бы ее. Когда мы подбежали к Валетке, одна из атаковавших ее собак успела ее укусить за верхнюю часть хвоста. Но Валетка все стояла спокойно, не двигаясь. Нужно было видеть, как Иванов был огорчен, как он ... за своего друга.

Иванов ходил в коричневом потертом плаще, всегда с неизменным своим портфелем в одной руке и с палкой в другой, так я его и написал. Всегда был бритый, с благообразными чертами лица и с красивыми голубоватыми глазами. Я написал его идущим "на службу". Картина эта, писанная пастельными красками, была приобретена И.В. Вульфом для его галереи, которую он потом перевез в деревню.

Натурщик

Все персонажи на моей картине "Прощение", как и вся обстановка вокруг, писаны с натуры. Приближаясь к концу этой работы, я оставался недоволен типом целовальника, или, как здесь его называют, "застойщика", изображенным в картине стоящим за стойкой и наливающим в рюмки из штофа водку. Сняв ножом с моего полотна неудачную фигуру, приготовив краску, я по обыкновению вышел "на охоту", поискать себе нового натурщика. Мне нужен был тип зрелого и лохматого человека, все свои дни проводившего в деле, которое его кормит и служит пристанищем для пропойц и проституток низшего пошиба. Типа, которому некогда, да и незачем за собой смотреть.

На этот раз мне долго не пришлось искать. Не успел я сделать несколько кварталов, как нужный мне тип сейчас же появился навстречу. Я смело подошел к неизвестному субъекту и без обиняков предложил ему поехать ко мне для позировки. Будущий мой натурщик оказался смышленным парнем и сейчас же согласился, но поехать со мной сейчас же не смог, так как был занят, обещая прийти ко мне по адресу на другой день.

— Будьте покойны, — обратился он ко мне, — я приду, непременно приду.

Картина моя, как я сказал выше, была совсем закончена, и весьма понятно, что желая видеть свою работу готовой, я с нетерпением ожидал в условленный час прихода нового натурщика. И вот в дверях моей мастерской, наконец, раздается желанный звук.

— Войдите! — говорю я.
Дверь открывается и входит какой-то незнакомый человек.

— Что вам угодно? — спрашиваю я.
Молчание.
— Что угодно? — повторяю я вопрос.
— Разве вы меня не узнаете? — слышу я в ответ.

Вошедший незнакомец оказался именно тем самым, который обещал ко мне прийти для позирования. Не догадавшись, что он мне именно нужен "au naturelle", то есть в заросшей бороде и с живописным лохматым копною начесанных волос, он, прежде чем прийти ко мне, зашел к парикмахеру, который его умыл, обрил и тщательно постриг. Кроме того, мой "натурщик" еще и приоделся.

Светлана ЛАЗДИНА

Поездка в Елизаветовку

ЕЩЕ ОБ ОДНОМ ИМЕНИИ КНЯЗЯ М.С. ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА В УКРАИНЕ

В 1948-1950 гг. наша бабушка Аня возила меня и брата Юру лечиться от очагов в легких в Черкасскую область, в слободу Елизаветовку. Ехали мы в Елизаветовку, потому что там жила родственница бабушки Ани (папиной матери) — бабушка Поля, и ее муж дед Сергей. Через неделю мы сняли комнату в соседней с ними хате (хозяева — Ульяна и Юхим). Основным аргументом бабушки для поездки было: "Там вылечивали многих от чахотки, в том числе и Елизавету Ксавьеровну Воронцову-Дашкову. А слободу Елизаветовку построили в 1845 г. и привезли в нее из Новгородской губернии десять семей, которые составили хор и исполняли народные песни и другую музыку для развлечения Е. К."

Мы жили в Елизаветовке на улице, которая была расположена вдоль соснового бора, за которым был с одной стороны крутой берег Днепра, а справа начинались болота. За хатами был луг, вишняки, и текла речка Ольшанка. В конце слободы была глубокая заводь. На ней стояли до революции ветряные мельницы. Муку по дороге везли к Сокирне, где была большая пристань на Днепре.

Рядом с Елизаветовкой были села: Лозовок — рядом со слободой, Будище (3 км), Мошны (7 км), Новоселовка (4-5 км).

Много было рассказов местных жителей: о Мошнах, где был дворец Воронцова-Дашкова, о Будищах, в которых тоже был дворец. Зеркальные стены его во время войны, как рассказывали селяне, бодали коровы, которых туда загнали немцы. А в конце войны немцы его взорвали.

Мы ходили в Мошны, заходили там с бабушкой Аней в красивую белую церковь и в деревянную, без гвоздей, бродили вокруг костела, закрытого. Кроме того, ходили по каким-то красивым аллеям, вдоль которых росли разные деревья, и были развалины, которые назывались "имение".

Родилась у меня мысль восстановить, поискав в разных источниках, описание того уже не существующего имения-дворца, развалины которого оставили столько интересных воспоминаний, а еще больше — загадок.

Три имения в разных частях Украины — одесское, алупинское и мошнорское — объединяет один человек и общая концепция ощущения пространства. Это и дальние перспективы, и принципы философского наполнения среды, и сходство архитектуры: мошненской церкви и дворца в Алупке, одесской ротонды над Черным морем и ротонды в парке с. Мошен, о которой рассказывала бабушка и соседи, и много других общих черт.

Разрозненные мои воспоминания пояснил, расширил, ярко разрисовал и существенно дополнил Интернет и Google.

Мошны

Это большое село может гордиться богатой историей, архитектурными памятниками и чарующими пейзажами. На подъездах к Мошням дорога идет сквозь массив соснового леса, густо укрывающего пологие холмы. Лес и сам по себе — достопримечательность. Древний Черкасский бор — последний большой массив украинской лесостепи — занимает 40 тыс. га. Летом — превосходная возможность подышать чистейшим воздухом, напоенным ароматами хвои, который бабушка считала особенно целебным для легких.

Первое упоминание о селе относится к XV в. Во время освободительной войны Мошны меняют статус и становятся казацким сотенным местечком. Весь XVII в. Мошны попеременно грабили и жгли поляки, турки и крымские татары.

Триста лет назад неподалеку от местечка существовал большой и состоятельный Вознесенский монастырь, получивший подтверждение своего землевладения от Ивана Мазепы и вольную грамоту от Петра Дорошенко. В этом монастыре обитал сын Богдана Хмельницкого Юрий, вынужденный сменить статус гетмана на монашескую рясу.

В 1948 г., когда мы ходили в с. Будище, в монастыре еще жили старенькие монахи. Там был очень большой яблоневый сад. Мы у них обменивали хлеб на яблоки. Увы, до наших дней монастырь не дожил. В советские времена его не только упразднили, но и разрушили.

По статьям "Вечного мира" 1686 г., Мошны попали в нейтральную полосу Приднепровья, не подлежащую заселению. В конце XVII в. эти земли по сходной цене приобрел Григорий Потемкин. Граф Потемкин завещал мошнорское имение своей племяннице Энгельгард-Браницкой. Александра Энгельгард подарила имение дочери Елизавете, которая позднее вышла замуж за князя Воронцова.

В 1853 году село Мошны имело 119 дворов, в которых проживало 674 человека.

Мошнорское — чрезвычайно красивое место под Черкассами. По распоряжению графа М.С. Воронцова, на высоте свыше 400 метров над уровнем моря был заложен красивый парк в английском стиле с роскошными аллеями, архитектурными сооружениями, мостиками, прудами, зверинцем, оранжереями.

В 1841 г. М.С. Воронцов-Дашков построил напротив села Мошны, за речкой Ольшанкой, большой трехэтажный каменный дворец в 80 комнат с картинной галереей и библиотекой, в которой находилась часть книг, завещанных ему Е.Р. Дашковой. Авторами парка и сооружений считают М.С. Воронцова, садовника Карла Минто, архитекторов де ла Кво, Торичелли. Интересно, что все объекты воронцовского массива построены местными мастерами-крепостными Романом Фортунным, Якововым и др.

Вокруг дворца в дубраве разбили английский парк, протянувшийся на 8 км. По его аллеям хозяева устраивали конные прогулки. Для посетителей предусмотрели легкие кабриолеты, в которые запрягали двух маленьких английских коней. Животных учили ездить по склонам. А еще был там Софиин столб. Его называли в честь дочки графа. По легенде, его поставили на месте, где опрокинулась карета с ней.

Но самой любопытной постройкой стала башня Святослава на горе над селом Будище. Если хозяева находились во дворце, то в темное время суток горел фонарь на ее вершине. Он служил своеобразным маяком для гостей.

За месяц до смерти, в октябре, М.С. Воронцов-Дашков посещает Мошны и перед смертью записывает на французском языке, что ему стыдно, из-за того что ему нужна посторонняя помощь, чтобы залезть на коня. Воронцову было 74 года. Имение в Мошнах после смерти светлейшего князя перешло в собственность его единственного сына Семена Михайловича.

В 1882 году Семен Михайлович Воронцов скончался. Имение, по его завещанию, перешло в 1884 году в наследство его племяннице Екатерине Андреевне Балашовой — дочери Софьи Михайловны Шуваловой.

Екатерина Андреевна была дама не только хозяйственная, но и с тонким художественным вкусом. Имение за десять лет стало образцовым, многоотраслевым и прибыльным хозяйством — благодаря удачному управлению опытных специалистов. Был построен дворец и другие сооружения. Возможно, некоторые изменения произошли и в парке. Для реставрации дворца и других сооружений Балашова пригласила тогда еще малоизвестного В.В. Городецкого.

Перед революцией 1917 г. это уже было огромное имение в центре производства сахара и муки Киевской губернии. Балашова была последней собственницей мошнорского имения. По свидетельству современников — французского врача-исследователя де ла Флиза и журналиста М. Грбовского (журнал "Современник"), во дворце была замечательная коллекция живописи и антиквариата.

В неопубликованном очерке черкасского краеведа Владимира Мануйлова дана картина гибели дворца: "В конце октября 1919 г. банды из окрестных сел Байбузы, Белоозирья, Крещатик, Тубельцы на 50 подводах под

вечер напали на дворец, с дикими пьяными воплями начали его грабить. Тянули на подводы все, что попадало под руки: гардины, подушки, посуду, легкую мебель. Кто-то добрался до винного подвала; вспыхнули спички. Пары спирта, которые накопились там, мгновенно взорвались, и начался пожар..."

Г. Бачинский в 1921 г. констатировал: "...Ныне все здания, за исключением дома сторожа, или совсем разрушены, или близки к этому... Внутри дворца все снизу доверху разрушено. Стоят лишь стены, которые извне все-таки не потеряли своей красоты".

Сегодня в Мошнах сохранилась Преображенская церковь (мы в ней бывали с бабушкой в 1948-1950 гг.).



Преображенская церковь



Деревянная церковка без гвоздей



Костел построен в 1857 г.

В Мошнах сохранились два из четырех корпусов больницы, спроектированной и построенной в 1909 г. молодым архитектором Владиславом Городецким, ставшим позже выдающимся архитектором. Деревянные постройки украшены прихотливой резьбой.



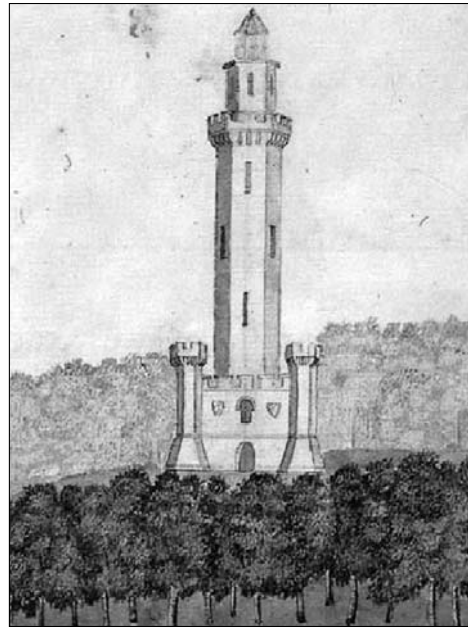
Один из корпусов, увы, покрашенный в белый цвет, до сих пор является больничным. Второй стал жилым домом, сохранившим первоначальный цвет и фактуру. Он очень похож на сказочный теремок. Однако состояние корпусов, естественно, не охраняемых государством, оставляет желать лучшего.

Село Будище

Село Будище находится в 25 километрах от Черкасс и в 4 км от Днепра. С южной стороны село ограничено грядой Мошенских гор. С западной стороны течет река Ольшанка, которая впадает в Днепр, а с севера и востока село обрамлено лесами.

Первое письменное упоминание о селе Будище, по некоторым данным, относится к 1036 году. С 20-х годов XI в. до 1036 г. селом владел князь Мстислав, брат киевского князя Ярослава.

Башня Святослава в высоту достигала почти 60 метров, имела два яруса. В первом ярусе находился просторный зал с зеркалами. Второй ярус представлял собой платформу, окруженную зубчатой стеной. Из этой платформы поднималась сама башня, которая имела форму пятиугольника, наподобие итальянских башен. Она насчитыва-



ла 160 ступеней, была построена по проекту Торичелли, который использовал опыт западной архитектуры.

Башня с элементами готики отличалась архитектурной неординарностью и оригинальностью. В народе ее называли "столбом"; для наших широт была она зданием необыкновенным. В основании ее был треугольный двухэтажный дом с тремя зубчатыми башнями по углам. Ствол ее был пятигранный, увенчанный стеклянным фонарем. На первом этаже находился просторный зал круглой формы. Вдоль стен стояли дубовые стулья с высокими спинками, украшенные гербами. На стенах висели охотничьи трофеи — головы кабанов, волков и т. п. На втором ярусе была открытая площадка (треугольная платформа), защищенная зубчатыми стенами, откуда и поднималась, собственно, самая башня. К фонарю спиралью вились 160 дубовых ступеней. Высота башни 27 саженей, это почти 60 метров — 20-этажный современный дом... Рядом располагался Вознесенский мужской монастырь, а под горой — село Будище.

Семья Воронцовых оказывала денежную помощь церквям и монастырям, часто обеспечивала хозяйство культовых учреждений. В частности, в 1833 году Вознесенский монастырь получил денежную помощь от князя Михаила Семеновича на ремонт главной Вознесенской церкви монастыря и родственной церкви Пресвятой Богородицы, где покоились его родители — графы Семен и Екатерина Воронцовы.

Но вихрь революционных событий уничтожил все. В октябре 1919 г. имение было разграблено, пожар и взрыв в богатых винных подвалах довершили драму. Южноамериканские ламы, подаренные Александром I и обитавшие в зверинце, и другие животные были съедены красноармейцами в том же 1919 г. А башню Святослава в 1943 году разрушили гитлеровцы.

Давид ШАПОВ

Предлагаемые обстоятельства

Севастополь, тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Июнь или август. На круглой эстраде в Городском саду играет духовой оркестр. Темные, прожаренные солнцем лохматые листья каштанов, плавающий на жаре асфальт и люди во всем белом. Белые платья на женщинах, белые брюки и рубашки на мужчинах. Белые парусиновые туфли, начищенные зубным порошком, разведенным на молоке, белые улыбки на темных загорелых лицах. Все смеются, в руках у женщин цветы.

Мне восемь лет. Я стою в узкой полоске тени от ствола каштана и наблюдаю суету взрослых. Они собираются фотографироваться. Все разом о чем-то говорят, паясничают, смеются, наконец становятся вялым, нога за ногу, руки смыкаются на плечах соседа, в зубах у каждого папираса. Кто-то вспоминает о ребенке и, смеясь, предлагает папиросу мне. Я чувствую горьковатый запах табака и пресный вкус бумаги во рту.

Рядом с папой стоит Петя Розенкер, великолепный джазовый пианист, потом Фима Гризотский — он играет на гитаре, банджо, контрабасе и ксилофоне и, наконец, Моня Табачников — длинный, рыжеватый, с большим кадыком. В те годы будущий модный композитор Модест Табачников был ударником. Не героем труда, а музыкантом, который играл на ударных инструментах и пел в рупор. При разговоре он заикался, но пел замечательно:

*Мама — это слово слов нежней,
Мама — это солнца лучей горячей,
И всю жизнь лишь она
Нам всегда, всегда верна,
Милая, добрая мама.*

Папа играл на скрипке. Когда-то он закончил Императорское музыкальное училище в городе Херсоне, и ему предлагали учиться дальше, но он любил джаз и красивую жизнь. Джазы в те годы играли везде — на танцевальных площадках в парках, в кинотеатрах перед началом сеанса и, конечно, в ресторанах.

Кроме мужчин на фотографии запечатлена одна женщина — гибкая, в белом по фигуре платье, в короткой стрижке, со сверкающими зелеными глазами и белоснежной улыбкой. Мама. Она улыбалась всегда. Я тоже улыбался, потому что все вокруг было залито солнцем, играла музыка, и был праздник, а когда тебе восемь лет, папа с мамой смеются, и на твоих ногах новые "скороходовские" сандалии, — тогда каждый день праздник.

Папин джаз гастролировал в Севастополе уже вторую неделю, и все жили в гостинице. Сначала Севастополь нравился мне, особенно набережная, откуда были видны военные суда флотилии Черноморского флота. В Одессе все ребята мечтали стать моряками, но я не разделял их мечту. Я еще не знал, кем буду, когда вырасту, но любил мечтать и проводил большую часть дня в уединении, сидя под обеденным столом в нашей комнате в Одессе. Стол стоял в центре ее, занимая большую часть комнаты. Это было огромное дубовое сооружение на массивных точеных тумбах, со сложным раздвижным механизмом, в котором мне виделось навесные мосты какой-то крепости. Мосты вели к лабиринту улиц и туннелей, в изъеденных шашелем руслах когда-то текли голубые реки, а по берегам их селились маленькие люди, мудрые и приветливые. Почему они покинули Стол? Что случилось с их цивилизацией? На этот вопрос я не находил ответа, и потому просто сидел великаном под сводами стола-Парфенона и читал книжку, пока не открывалась дверь и в ней не появились ноги отца.

— Сыночек, — звал меня отец, и я, торопливо спрятав книгу за ближайший уступ стола, выползал из укрытия и появлялся перед ним. — Что ты сегодня делал, сыночек?

— Ничего...

— Целый день ничего?

— Я... читал.

Отец тяжело качал головой.

— Читал. Лучше бы ты стекло в окне мячом разбил, морду кому-нибудь расквасил. Ты посмотри на себя — у всех дети как дети, а у меня бледная немочка растет.

Он долго вздыхал, курил, кашлял, потом замечал, что сын все еще стоит перед ним солдатиком, и с отвращением бросал:

— У всех дети как дети, а у меня бледная немочка растет. Ступай с глаз моих, не выйдет из тебя толк, понимаешь? Не выйдет! Ты не от мира сего.

Я не понимал, как этот толк может из меня не выйти, если должен, и куда он денется, если он не выйдет, и как мне жить с этим не вышедшим из меня толком? Я тяжело вздыхал, и мама, обеспокоенная этими вздохами, спешила к ребенку и трогала губами мой лоб. Убедившись, что лоб не горячий, она удовлетворенно заканчивала процедуру поцелуем и принималась за мытье пола, а я устраивал-

ся на диване, держа в руках свое сокровище, книгу в коленкоровом переплете с золотым тиснением, которая называлась "Дон Кихот" писателя Сервантеса. Книга была очень дорогой, и не каждому ребенку в таком раннем возрасте делали такие подарки. Так говорил папа. Но не каждый ребенок так рано умеет читать, это говорила уже мама.

Я завидовал мальчишкам из простых семей, которым родители разрешили играть во дворе в соловья-разбойника или в салочки. Мне категорически запрещали с ними общаться, и вообще выходить во двор. Дело в том, что дома в Одессе строились отдельными флигелями, которые примыкали друг к другу, образуя квадраты, и внутри такого квадрата находился двор. Туда выходили "черные" лестницы, в центре двора обычно находилась водопроводная колонка, а в углу обязательная дворовая уборная, из которой мерзко несло чело-веческими испражнениями, приглушенными ядовитым запахом карболки.

Однажды какие-то люди выгородили часть двора, водрузили в середине флагшток, поставили несколько скамеек, и теперь это все называлось "Форпостом им. Постышева". Что такое "форпост", и кто такой Постышев, никто не знал, и, как потом выяснилось, знать не надо было, потому что вскоре Постышев оказался "врагом народа", и его расстреляли, но флагшток остался, и пацаны на скамейках резались в карты, курили и плохо выражались, как утверждала мама. Вот почему мне не разрешили выходить во двор, и вместо прогулки я утром выводил в коридор свой трехколесный велосипед, который мне подарили на день рождения.

Нашу квартиру на третьем этаже до революции занимала одна семья. В ней был длинный широкий коридор, и по бокам его резные дубовые двери вели в анфиладу комнат. Теперь в квартире жили восемь семей, в коридоре повесили восемь индивидуальных электрических счетчиков, а в сортире величиной в два на полтора метра установили восемь электрических лампочек, и теперь каждый жилец, отправляясь в сортир, зажигал свою лампочку. Таким образом, в парадном на входной двери красовались восемь кнопок электрических звонков, которые по неизвестным причинам звонить отказывались, и обычно в дверь просто стукали кулаком. К нам, к примеру, стучать следовало три раза.

Педали моего велосипеда противно скрипели, и мама боялась, чтобы я, не дай Бог, не разбудил соседей. Но соседей скрип педалей не беспокоил, и я крутил их как мог быстро, развивая сумасшедшую скорость, и велосипед заносило на поворотах, но я выравнивал его и выходил на финишную прямую, которая вела в кухню, где постоянно гудели восемь примусов, и если у вас никогда не было своего, то вам не понять, что такое горящий примус.

Ну, прежде всего, это корпус. Такой медный резервуар, куда наливали керосин и плотно закручивали крышку горлышка. К резервуару были припаяны три ножки, на которые ставилась кастрюля, а между ними располагалась горелка. Горелку нужно было предварительно нагреть, чтобы струя керосина, которая, после того как вы накачаете примус, выбила из форсунки, воспламенилась, примус зажужжит по-сумасшедшему, колпачок горелки раскраснеется — и готово: ставьте на него чайник, кастрюлю или сковороду. В общем, от одного примуса можно сойти с ума, а если восемь?

Поэтому, не доезжая до кухни, я делал крутой поворот и возвращался к старту. К этому времени квартира просыпалась, и все становилось в очередь к "туалету", как называли грязный и вонючий сортир — один на восемь семей. Вода на третий этаж не доходила, и сливной бачок не работал, поэтому в руках у соседей были ведра "для сливания" и индивидуальные сидухи.

Все это я видел много раз, проезжая мимо на своем велосипеде, как маршал Буденный на вороном коне во время парада, — я видел фотографию в журнале "Огонек". Некоторые соседи мне улыбались, когда я отдавал им честь, но были и такие, которые делали вид, что не замечают меня, а то и демонстративно отворачивались. Я понимал, что время раннее, все торопится на работу, очередь длинная, всем приспичило, а из сортира несется голос нашего соседа, художника Ольшаницкого:

— О я никогда-а-а-а так не жаждал жизни...

Я спрашивал у мамы, почему Ольшаницкий жаждет жизни именно в сортире, а мама объяснила, что сосед релетирует арию Кавардоси, и что в сортире хороший резонанс, а у него одна комната на четверых.

После прогулки по коридору я усаживался на диван и ждал, пока мама закончит мыть пол в комнате. Полы мыли не только из гигиенических соображений. Солнце разогревало воздух в комнате до немыслимой температуры и,

спасаясь от зноя, все днем мыли полы и плотно закрывали створки белых ставень на окнах. Какое-то время в полумраке сохранялась влажная прохлада, и тогда я открывал своего "Донкихота", претолстенное сочинение писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра о хитроумном идальго Доне Кихоте Ламанчском.

Сейчас, когда мама собиралась увезти меня на лето в деревню, для того чтобы ребенок набрал вес, или, как тогда говорили в Одессе, "поправился", стоял вопрос: взять ли книгу с собой, или оставить ее в книжном шкафу за стеклянными дверями. Я и сам не знал, как отнесется Дон Кихот к переезду. Украинская деревня все же не поместье в Ламанче, и хоть был Рыцарь Печального Образа очень неприятельным, но все же...

В деревню мы отправлялись каждое лето. Можно было, конечно, снять дачу на Фонтане, у моря, что я очень любил, но там не было парного молока и гоголя-моголя из свежих яиц, которые я ненавидел. Кончалось все тем, что два месяца мы маялись в пыльной деревенской жаре, умывались из чайника и спали на матрацах, которые одновременно были гнездилищем блох, я загорал до черноты, гоняя по улицам с деревенскими мальчишками, но вес мой оставался тем же, зато мама, доедая за мной манные каши, щедро приправленные сливочным маслом, набирала ненужные ей килограммы.

А еще я любил книжку под названием "Рассказы об артиллерии". Чем именно она меня привлекала, сказать трудно. Я не мечтал о военной карьере, и литературно эти рассказы были на достаточно среднем уровне, но я помнил их почти наизусть, а к Большой Берте проникся особым чувством. Она была первой среди гладкоствольных. Прочие гаубицы и пушки размещались в моем воображении согласно табели о рангах.

Но, конечно, главной была книжка о Рыцаре Печального Образа, и даже не столько о нем, сколько о его любви и верности к прекрасной Дульсине Тобосской. У меня самого в то время уже были тайные возлюбленные, хотя до знакомства с Сервантесом я не знал, как это называется, а теперь узнал и начал перебирать в памяти знакомых девчонок, которые годились бы в мои Дульсины.

Вскоре мы вернулись в Одессу, в нашу квартиру, — так тогда все говорили, хотя в большой коммунальной квартире мы занимали только одну комнату. Ключевое слово здесь — "коммунальная", производное от коммуны, как и слово коммунизм, но если коммуна была аналогична нашей квартире, то никакая это не мечта человечества — это было понятно даже ребенку. Но об этом несколько позже.

Окна нашей комнаты выходили на юг, и летом солнце неумолимо выжигало все — обои, цветы, сидения на диване и клеенку на обеденном столе. Хорошо еще, что дома когда-то строили из ракушника, который добывали в каменоломнях под городом, и стены домов были, наверное, в метр толще. Под городом остались длинные лабиринты катакомб, где, по слухам, жили цыгане и прятали там украденных у родителей детей.

Так вот, толщина наружных стен предохраняла все живое в квартирах от нещадно палящего солнца. А еще на окнах были ставни — длинные створки из дерева, окрашенные белой масляной краской. Днем ставни закрывали, и в комнате сохранялся прохладный полумрак. К вечеру, когда солнце уходило за дом, с луной в одном глазу, отчего лицо его смешно кривилось в одну сторону. Однажды утром я заметил, что часовая мастерская не открылась, как обычно, и Фейгман в окне не появился. Я спросил у мамы, что с ним. Мама только покачала головой, но наш сосед по квартире, художник Ольшаницкий, рассказал мне по секрету, что Фейгмана взяли "за золотуху". Что такое "золотуха", он мне не объяснил, но я уже сам догадался. Кто не знал, что часовая мастер втихаря торговал золотом, а все золото принадлежало народу? Но мне было жаль часового мастера. В общем-то, он никому не мешал, даже если у него нашли золото. И вообще, мне не нравилось слово "золотуха". Как будто это болезнь какая-то. Я поделился своими мыслями с папой, но тот очень рассердился на меня и, оглядываясь на двери, сказал, чтоб я выбросил из головы такие мысли, и потребовал от меня

обещания никогда и никому об этом не говорить. Я обещал, но не переставал думать. Теперь, когда ночью я слышал звук проезжающего автомобиля, я представлял себе, как из него выходят люди в черных костюмах и стучат в чью-то дверь. Ее долго не открывают, но стук становится все громче, просто грохот какой-то, и тогда дверь открывают. Из нее выходит бледный, как стенка, человек, и его уводят. А в комнате еще долго кто-то будет плакать.

Как-то папа приехал домой с радостной вестью: ему удалось по знакомству включить сына в число кандидатов на прослушивание в музыкальной школе имени проф. П.С. Столярского. О гениальном педагоге, учителе самого Давида Ойстраха, в городе ходили невероятные легенды. Одни утверждали, что профессор так и остался малограмотным клезмером, и только благодаря советской власти стал "красным музыкальным профессором", другие даже слышать о таком не хотели и перечисляли имена его заслуженных учеников, но когда на Сабанеевом мосту построили новую школу и назвали ее именем живого профессора Петра Соломоновича Столярского, все кривотолки прекратились, и мечтой одесских родителей стало определение их детей в школу прославленного педагога.

В огромном полукруглом зале стоял удручающих размеров черный рояль, и на стульчике сидел Он, седой уже старик. Папа тихонько подтолкнул меня в спину, и я поплелся через весь зал к старику у черного рояля. Тот посмотрел на ребенка мутными глазами с красными веками и спросил, как меня зовут. Я назвал и вдобавок сообщил, что мой папа тоже музыкант, а лично я очень люблю петь. Профессор попросил меня что-нибудь спеть, и я начал громко:

*Ужасно шумно в доме Шнеерзона,
Се тит зих хойшех, прямо дым идет.
Там женят сына Соломона,
Который служит в Губтримот...*

Профессор послушал немного, склонив голову на одно плечо, и взмахом руки остановил меня — и хорошо сделал, потому что в этой песне было бесконечное количество куплетов, и пение могло длиться до утра.

Дальше была проверка на ритмику. Старик отхлопывал своими подагрическими ладонями какие-то заковыристые ритмические фигуры, а я должен был это повторять. Запомнить их было невозможно, и мне уже порядком надоел старик Столярский. Хотелось домой, поэтому, не задумываясь, я отхлопал какую-то белиберду, чем немало удивил профессора, — оказалось, что все правильно и, не веря ушам своим, Столярский задал задачу заковыристой, а я назвал ему все повторил. Кончилось тем, что профессор устал, а мне захотелось "по-маленькому".

Мама отвела меня в туалет, а папа остался разговаривать с профессором. Тот признал, что у его сына абсолютный слух, и сказал, чтобы отец обратился в канцелярию, — там ему расскажут, что делать дальше. Через два дня от них пришло письмо, в котором уведомлялось, что я зачислен в подготовительный класс педагога Мордковича. На следующий день папа привез какой-то маленький футляр, похожий на гробик, и в нем лежала скрипка-восьмушка. Она очень приятно пахла свежим лаком, тогда как от папиной, старой, несло каннифолью и табачной горечью.

Педагог Мордкович был рыжим. Даже можно сказать, красным. Руки и лицо его были густо покрыты веснушками, а за маленькими веками с короткими прямыми ресницами блестящие карие лукавые глаза. Сначала нужно было научиться держать скрипку под подбородком так, чтобы локоть левой руки не оттопыривался, а наоборот, уходил под деку скрипки. Потом уложить в пальцы смычок. Все это мне казалось глупостью. Почему обязательно нужно так красиво, веером, располагать пальцы на смычке и картинно изгибать кисть? Не буржуй же я какой-то с кружевными манжетами, как на миниатюре неизвестного художника, которую мама купила по случаю с рук. Время же другое! Я спросил папу, держит ли он смычок так, как показывает Мордкович, или как-то по-советски, но папа не понял и начал объяснять все по-своему, а когда я заметил, что Мордкович показывает иначе, папа решительно заявил, что педагог Мордкович выжил из ума, и все скрипачи держат смычок именно так, как он.

Потом начались гаммы, и если бы все дело было в Мордковиче, пытку гаммами можно было бы перенести, но был еще отец, музыкант, выпускник херсонского Императорского музыкального училища, где, по его рассказам, нерадивых учеников били смычком по рукам. Отец работал вечерами в ресторане, а днем занимался с сыном музыкой, потому что, по его мнению, моя правая рука была как

дубина, скрипку я держал, как паралитик, и звуки издавал адские. Папа брал свою скрипку и играл гамму. Слушая его, мне становилось ясно, что я бездарность, которую нужно бить смычком по рукам, что на меня зря тратят время, и скрипачом я стану тогда, когда на ладонях папы вырастут волосы. Я не знал, как долго растут волосы на ладонях, но понимал, что это дело далекого будущего.

Однажды я спросил у педагога Мордковича, сколько примерно времени обычно занимает рост волос на ладонях. Тот долго смотрел на меня, не понимая, и тогда пришлось ему объяснить, что, по мнению папы, я стану скрипачом тогда, когда на ладонях отца появится растительность. Мордкович ужасно разозлился, лицо его сначала покраснело еще больше, потом побелело, и он сказал, что у сына его отца есть все данные стать серьезным музыкантом еще при его, Мордковича, жизни, тем самым задав мне новую загадку: как долго Мордкович будет жить? А если ему завтра кирпич упадет на голову или он попадет под трамвай, — что тогда? Я почувствовал свою полную зависимость от двух музыкантов, и что-то мне расхотелось становиться третьим.

Все лето я занимался музыкой. Легкая поначалу скрипка к концу второго часа гамм наливалась чугуном, ладони потели, и пальцы не держали смычок. В связи с моими занятиями мама мыла пол дважды в день, в углу жужжал вентилятор, но ребенок изнемогал. Испытательный срок, или подготовительный период, заканчивался, на носу был сентябрь месяц, и пора было выбирать школу. Вопрос, пойду ли я в специальную, имени Столярского, или в обыкновенную, среднюю, должны были решить родители совместно с педагогом Мордковичем. Они ушли на собеседование, а я одиноко бродил по школе, смотрел на старших учеников с футлярами со скрипками подмышкой и удивлялся: кому же нужно столько скрипачей?

Родители вернулись хмурыми, мама не смотрела в сторону папы, а тот, сунув кулаки в карманы, не смотрел на сына. Какой там был разговор, мне неизвестно по сей день, но первого сентября я пошел в первый класс средней школы номер 39 с обязательным посещением три раза в неделю класса педагога Мордковича.

Говоря о школе 1940 года, прежде всего, вспоминаются тяжелые, как танки, двухместные парты с откидными досками и покатыми столешницами, выкрашенными густой липкой черной краской. Потом незабываемый запах дезинфекции в коридорах, как в больницах или дворовых уборных. И еще тетрадки — тощие, с шершавой бумагой, в которую была впрессована необработанная деревянная стружка, и перо номер восемьдесят шесть, спотыкаясь о нее, брызгало фиолетовыми чернилами, оставляя на только что написанной странице с палочками жирные кляксы, — и приходилось начинать новую страницу с этими палочками, потом палочками с крючочками, потом с двойными палочками — и так дальше, до умопомрачения. Придя домой, я наскоро мыл руки и ел полдник. Мама смотрела на осунувшееся лицо ребенка и тяжело вздыхала. Еще бы, при такой нагрузке! Мне разрешалось полчаса почитать, потому что нужно было готовиться к уроку по музыке. Оттого, что гаммы уже не скрежетали под моим смычком, они не становились музыкой, и если в этом заключалось учеба в школе им. П.С. Столярского, то я предпочитал писать фиолетовыми чернилами бесконечные идиотские палочки вместо бесконечных идиотских гамм — и к черту Столярского вместе с Мордковичем.

Так прошел год. Я закончил первый класс с похвальной грамотой, на которой были напечатаны портреты Ленина и Сталина в золотых овальных рамках, а педагог Мордкович поздравил маму и папу с успехами сына на поприще музыки, заверяя, что его класс с удовольствием примет такого талантливого ученика.

А пока впереди было скучное лето. Теперь, после тяжелого учебного года, меня наверняка увезут в деревню, где по ночам в матрацах будут копошиться блохи, а утром будет раздаваться утробное мычание коров, и нужно будет искать свою кружку, и тащиться через двор в коровник, и пить душное жирное молоко, пахнущее прелым сеном и коровьим выменем.

Но все решилось иначе. Однажды утром, когда я ночевал у бабушки на Коблевской и Ольгиевской, меня разбудили громкие разговоры, какой-то шум, вскрикивания, потом торопливый, взхлеб, шепот. Я вышел из спальни в гостиную. Бабушка, очень взволнованная, разговаривала с кем-то по телефону, который висел на стене у балкона, и бабушку то и дело закрывал штофный тюль занавесей. Так я узнал, что началась война, что обязательно нужно запастись мылом, солью и спичками, и что детство мое закончилось.

Михаил ОБУХОВСКИЙ

Если не мы, то кто?..

"Как часто в нашей переписке возникают похожие воспоминания. Если мы еще сохранили крохи памяти о предках, то следующие поколения уже не смогут даже их вспомнить".

Из писем Зинаиды Долговой

Мой прапрадед (Пи-Пи-Ди, как мы говорили) Моисей Обуховский был кантонистом — предтечей суворовских училищ, последователем египетских мамлюков и примером для африканских детей-солдат. В начале тридцатых годов позапрошлого века в возрасте 12 лет его забрали на военную службу на долгих 25 лет. Потомков созданных Петром гарнизонных школ, оторванных от корней, лишенных возможности соблюдать еврейские обряды, мальчиков забирали раньше 13 лет, чтобы они не смогли сделать Бар-Мицву, ведь целью кантонизма была не только подготовка квалифицированных, технически грамотных унтер-офицеров, но еще и ассимиляция евреев. Норма призыва в армию для евреев была три из тысячи военнообязанных — "записанных лиц мужского пола", тогда как для других конфессий эта норма была — один человек.

Забранных в солдаты ожидало насильственное крещение. Отказавшихся прогоняли сквозь строй, и редко кто выживал после палочных ударов. За разговоры на идиш, празднование Песах или Йом-Кипур детей помещали в карцеры с мокрым холодным полом.

Чтобы окончательно отрезать корни кантонистов от их семей, при крещении мальчикам давали новые, христианские имена, — отсюда Воронов, потомки еврейских выкрестов — Менделеев, Мечников... А в одной семье в глубине России старший брат хотел убить царя, а младший пошел другим путем.

От полной ассимиляции еврейских кантонистов (их называли еще "николаевскими солдатами") спасла смерть Николая I. В книге о кантонистах Эммануэль Флисфин определяет кантонизм как "армию еврейских детей". За годы существования рекрутов-кантонистов (1827-1856) отбывало 25 лет более 50 тыс. солдат. В царствование Александра I условия службы значительно улучшились, а затем и сам кантонизм был отменен.

А пока, в поколении моего ППД, среди живших шел отбор самых толковых детей-солдат. Их учили грамоте и отдавали служить в фортификационные войска, где требовались специальные знания. Наиболее способных набирали в артиллерию, которая составляла основу технических средств армии. В Крымскую войну при отражении атак

полудиких зуавов и вышколенных англичан артиллеристы мортирной батарее, где служил мой Пи-Пи-Дед, проявили героизм, отмеченный в приказе адмирала Истомина. Знаменитый хирург Пирогов писал об особом мужестве и боевой выучке евреев-кантонистов. Так что земля Малахова кургана полита и еврейской кровью. Помню, как у Толстого я наткнулся на рассказ о мужестве кантониста Максимила и о том, как он обкладывал всех "матюгами" на идиш...

К концу Крымской войны империя была истощена. У евреев брали уже за два года до тридцати кантонистов с одной тысячи. С 1844 солдатским крестом Св. Георгия стали награждать и иноверцев, в это число попал и мой Пи-Пи-Дед.

После полных 25 лет военной службы, что совпало с окончанием Крымской войны, Пи-Пи-Дед вернулся в родной городок Новогеоргиевск... Написал "родной", но я не знаю точно, поселился ли он там, где прежде жила его семья, или ввиду потери всех связей — там, где застал его конец военной службы. Ему было уже больше 40 лет, и он должен был начать жизнь заново. Он построил дом в Новогеоргиевске, там, где Тясмин впадает в Днепр, растил двух детей.

По семейным легендам, Пи-Пи-Дед любил публично издеваться над городовым, стоявшим на центральной площади городка, который должен был при встрече с георгиевским кавалером (а Пи-Пи-Дед получил Георгия "на ленте") отдать честь... даже если тот был евреем и носил ермолку. Эта церемония повторялась многократно, пока Пи-Пи-Дед ходил вокруг городского, и была одним из многих развлечений для жителей Новогеоргиевска, больше половины которых составляли евреи.

Вернувшись грамотным попидавшим мир человеком (Туркестан, "Кафкас"), Пи-Пи-Ди помогал землякам писать прошения и письма, мог оценить имущество для податей, надписать заграничный адрес на конверте. Но самой невероятной было передаваемая из поколения в поколение легенда, что он знал французский, которому его учили пленные зуавы. Штыковой атаке он был обучен, а вот умению берберов, родившихся в Атласских горах, сидеть сутками в засаде, чтобы поймать кого-нибудь на мушку, надо было учиться.

"По-фрррансуски говорят ув Франсси, ихний язык не трудный, — говорил он, — стафь увереди "ля" — и вот уже ихние слова: ля плафон, ля плянше. Это называют артикель".

Наверное, эти "франсуские артикли" мое-



го Пи-Пи-Деда и сохранились в семейной хронике. А иначе почему у меня оказалось больше всего проблем именно в определении артикля и рода? Правил для определения рода практически нет. Почему стол — она (la table), а кровать — он (le lit)?

Вот и вспоминал я ППД, заучивая французские артикли.

Орденский капитал (пенсия) позволял содержать семью. Может быть, именно поэтому ППД был ограблен. В одну из ночей 1860 года Моисей проснулся от громкого шепота жены: "Моше, Моше... У нас воры... Бандиты...". Моисей продолжал лежать, а когда грабители связали в узлы вещи, он встал, большого роста (а мужества было не занимать), взял грабителей за шиворот, ударил друг о друга и выбросил в окно (так это произошло, по рассказам дедушки Давида).

На следующую ночь бандиты решили отомстить и подожгли дом.

Моисей вынес детей и жену, а когда вернулся, чтобы взять мундир с Георгиевским крестом, горящая крыша рухнула и накрыла его.

Так окончилась жизнь моего прапрадеда, георгиевского кавалера, кантониста.

Один из спасенных детей, Пинхас, впоследствии стал моим прадедушкой.

А кто передаст это дальше, кто допишет "семейную книгу"?

Ведь если не мы, так кто?



«Всемирные одесские новости» в сети Интернет:
www.odessitclub.org

дубина, скрипку я держал, как паралитик, и звуки издавал адские. Папа брал свою скрипку и играл гамму. Слушая его, мне становилось ясно, что я бездарность, которую нужно бить смычком по рукам, что на меня зря тратят время, и скрипачом я стану тогда, когда на ладонях папы вырастут волосы. Я не знал, как долго растут волосы на ладонях, но понимал, что это дело далекого будущего.

Однажды я спросил у педагога Мордковича, сколько примерно времени обычно занимает рост волос на ладонях. Тот долго смотрел на меня, не понимая, и тогда пришлось ему объяснить, что, по мнению папы, я стану скрипачом тогда, когда на ладонях отца появится растительность. Мордкович ужасно разозлился, лицо его сначала покраснело еще больше, потом побелело, и он сказал, что у сына его отца есть все данные стать серьезным музыкантом еще при его, Мордковича, жизни, тем самым задав мне новую загадку: как долго Мордкович будет жить? А если ему завтра кирпич упадет на голову или он попадет под трамвай, — что тогда? Я почувствовал свою полную зависимость от двух музыкантов, и что-то мне расхотелось становиться третьим.

Все лето я занимался музыкой. Легкая поначалу скрипка к концу второго часа гамм наливалась чугуном, ладони потели, и пальцы не держали смычок. В связи с моими занятиями мама мыла пол дважды в день, в углу жужжал вентилятор, но ребенок изнемогал. Испытательный срок, или подготовительный период, заканчивался, на носу был сентябрь месяц, и пора было выбирать школу. Вопрос, пойду ли я в специальную, имени Столярского, или в обыкновенную, среднюю, должны были решить родители совместно с педагогом Мордковичем. Они ушли на собеседование, а я одиноко бродил по школе, смотрел на старших учеников с футлярами со скрипками подмышкой и удивлялся: кому же нужно столько скрипачей?

Родители вернулись хмурыми, мама не смотрела в сторону папы, а тот, сунув кулаки в карманы, не смотрел на сына. Какой там был разговор, мне неизвестно по сей день, но первого сентября я пошел в первый класс средней школы номер 39 с обязательным посещением три раза в неделю класса педагога Мордковича.

Говоря о школе 1940 года, прежде всего, вспоминаются тяжелые, как танки, двухместные парты с откидными досками и покатыми столешницами, выкрашенными густой липкой черной краской. Потом незабываемый запах дезинфекции в коридорах, как в больницах или дворовых уборных. И еще тетрадки — тощие, с шершавой бумагой, в которую была впрессована необработанная деревянная стружка, и перо номер восемьдесят шесть, спотыкаясь о нее, брызгало фиолетовыми чернилами, оставляя на только что написанной странице с палочками жирные кляксы, — и приходилось начинать новую страницу с этими палочками, потом палочками с крючочками, потом с двойными палочками — и так дальше, до умопомрачения. Придя домой, я наскоро мыл руки и ел полдник. Мама смотрела на осунувшееся лицо ребенка и тяжело вздыхала. Еще бы, при такой нагрузке! Мне разрешалось полчаса почитать, потому что нужно было готовиться к уроку по музыке. Оттого, что гаммы уже не скрежетали под моим смычком, они не становились музыкой, и если в этом заключалось учеба в школе им. П.С. Столярского, то я предпочитал писать фиолетовыми чернилами бесконечные идиотские палочки вместо бесконечных идиотских гамм — и к черту Столярского вместе с Мордковичем.

Так прошел год. Я закончил первый класс с похвальной грамотой, на которой были напечатаны портреты Ленина и Сталина в золотых овальных рамках, а педагог Мордкович поздравил маму и папу с успехами сына на поприще музыки, заверяя, что его класс с удовольствием примет такого талантливого ученика.

А пока впереди было скучное лето. Теперь, после тяжелого учебного года, меня наверняка увезут в деревню, где по ночам в матрацах будут копошиться блохи, а утром будет раздаваться утробное мычание коров, и нужно будет искать свою кружку, и тащиться через двор в коровник, и пить душное жирное молоко, пахнущее прелым сеном и коровьим выменем.

Но все решилось иначе. Однажды утром, когда я ночевал у бабушки на Коблевской и Ольгиевской, меня разбудили громкие разговоры, какой-то шум, вскрикивания, потом торопливый, взхлеб, шепот. Я вышел из спальни в гостиную. Бабушка, очень взволнованная, разговаривала с кем-то по телефону, который висел на стене у балкона, и бабушку то и дело закрывал штофный тюль занавесей. Так я узнал, что началась война, что обязательно нужно запастись мылом, солью и спичками, и что детство мое закончилось.

Михаил ОБУХОВСКИЙ

Если не мы, то кто?..

"Как часто в нашей переписке возникают похожие воспоминания. Если мы еще сохранили крохи памяти о предках, то следующие поколения уже не смогут даже их вспомнить".

Из писем Зинаиды Долговой

Мой прапрадед (Пи-Пи-Ди, как мы говорили) Моисей Обуховский был кантонистом — предтечей суворовских училищ, последователем египетских мамлюков и примером для африканских детей-солдат. В начале тридцатых годов позапрошлого века в возрасте 12 лет его забрали на военную службу на долгих 25 лет. Потомков созданных Петром гарнизонных школ, оторванных от корней, лишенных возможности соблюдать еврейские обряды, мальчиков забирали раньше 13 лет, чтобы они не смогли сделать Бар-Мицву, ведь целью кантонизма была не только подготовка квалифицированных, технически грамотных унтер-офицеров, но еще и ассимиляция евреев. Норма призыва в армию для евреев была три из тысячи военнообязанных — "записанных лиц мужского пола", тогда как для других конфессий эта норма была — один человек.

Забранных в солдаты ожидало насильственное крещение. Отказавшихся прогоняли сквозь строй, и редко кто выживал после палочных ударов. За разговоры на идиш, празднование Песах или Йом-Кипур детей помещали в карцеры с мокрым холодным полом.

Чтобы окончательно отрезать корни кантонистов от их семей, при крещении мальчикам давали новые, христианские имена, — отсюда Воронов, потомки еврейских выкрестов — Менделеев, Мечников... А в одной семье в глубине России старший брат хотел убить царя, а младший пошел другим путем.

От полной ассимиляции еврейских кантонистов (их называли еще "николаевскими солдатами") спасла смерть Николая I. В книге о кантонистах Эммануэль Флиссин определяет кантонизм как "армию еврейских детей". За годы существования рекрутов-кантонистов (1827-1856) отбывало 25 лет более 50 тыс. солдат. В царствование Александра I условия службы значительно улучшились, а затем и сам кантонизм был отменен.

А пока, в поколении моего ППД, среди живших шел отбор самых толковых детей-солдат. Их учили грамоте и отдавали служить в фортификационные войска, где требовались специальные знания. Наиболее способных набирали в артиллерию, которая составляла основу технических средств армии. В Крымскую войну при отражении атак

полудиких зуавов и вышколенных англичан артиллеристы мортирной батарее, где служил мой Пи-Пи-Дед, проявили героизм, отмеченный в приказе адмирала Истомина. Знаменитый хирург Пирогов писал об особом мужестве и боевой выучке евреев-кантонистов. Так что земля Малахова кургана полита и еврейской кровью. Помню, как у Толстого я наткнулся на рассказ о мужестве кантониста Максимила и о том, как он обкладывал всех "матюгами" на идиш...

К концу Крымской войны империя была истощена. У евреев брали уже за два года до тридцати кантонистов с одной тысячи. С 1844 солдатским крестом Св. Георгия стали награждать и иноверцев, в это число попал и мой Пи-Пи-Дед.

После полных 25 лет военной службы, что совпало с окончанием Крымской войны, Пи-Пи-Дед вернулся в родной городок Новогеоргиевск... Написал "родной", но я не знаю точно, поселился ли он там, где прежде жила его семья, или ввиду потери всех связей — там, где застал его конец военной службы. Ему было уже больше 40 лет, и он должен был начать жизнь заново. Он построил дом в Новогеоргиевске, там, где Тясмин впадает в Днепр, растил двух детей.

По семейным легендам, Пи-Пи-Дед любил публично издеваться над городовым, стоявшим на центральной площади городка, который должен был при встрече с георгиевским кавалером (а Пи-Пи-Дед получил Георгия "на ленте") отдать честь... даже если тот был евреем и носил ермолку. Эта церемония повторялась многократно, пока Пи-Пи-Дед ходил вокруг городского, и была одним из многих развлечений для жителей Новогеоргиевска, больше половины которых составляли евреи.

Вернувшись грамотным попидавшим мир человеком (Туркестан, "Кафкас"), Пи-Пи-Ди помогал землякам писать прошения и письма, мог оценить имущество для податей, надписать заграничный адрес на конверте. Но самой невероятной было передаваемая из поколения в поколение легенда, что он знал французский, которому его учили пленные зуавы. Штыковой атаке он был обучен, а вот умению берберов, родившихся в Атласских горах, сидеть сутками в засаде, чтобы поймать кого-нибудь на мушку, надо было учиться.

"По-франсуски говорят ув Франсси, ихний язык не трудный, — говорил он, — стафь увереди "ля" — и вот уже ихние слова: ля плафон, ля плянше. Это называют артикель".

Наверное, эти "франсуские артикли" мое-



го Пи-Пи-Деда и сохранились в семейной хронике. А иначе почему у меня оказалось больше всего проблем именно в определении артикля и рода? Правил для определения рода практически нет. Почему стол — она (la table), а кровать — он (le lit)?

Вот и вспоминал я ППД, заучивая французские артикли.

Орденский капитал (пенсия) позволял содержать семью. Может быть, именно поэтому ППД был ограблен. В одну из ночей 1860 года Моисей проснулся от громкого шепота жены: "Моше, Моше... У нас воры... Бандиты...". Моисей продолжал лежать, а когда грабители связали в узлы вещи, он встал, большого роста (а мужества было не занимать), взял грабителей за шиворот, ударил друг о друга и выбросил в окно (так это произошло, по рассказам дедушки Давида).

На следующую ночь бандиты решили отомстить и подожгли дом.

Моисей вынес детей и жену, а когда вернулся, чтобы взять мундир с Георгиевским крестом, горящая крыша рухнула и накрыла его.

Так окончилась жизнь моего прапрадеда, георгиевского кавалера, кантониста.

Один из спасенных детей, Пинхас, впоследствии стал моим прадедушкой.

А кто передаст это дальше, кто допишет "семейную книгу"?

Ведь если не мы, так кто?



«Всемирные одесские новости» в сети Интернет:
www.odessitclub.org

— Тимофея привезла сюда девушка, — рассказывала Ника. — Она одесситка, я ее знаю, они встречались где-то там, в его Луганске. И вот однажды она уезжает домой, и прямо перед вагоном говорит: или мы едем вместе, или расстаемся прямо сейчас. Ну, и он, конечно, — ты видела, парень решительный, — шагнул в вагон! Правда, тут они разбежались.

Кофе приплыло к нам по воздуху. Каждый из приятелей держал в руках по две чашки кофе в фарфоровых чашках на блюдцах.

Я выпила первый глоток и перестала дрожать.

— Давайте погадаем на кофейной гуще! — предложила Ника и поглядела в чашечку Вована. — Я вижу три поезда!

Вован, больше похожий на доверчивого кудрявого щенка, чем на Главного Хирурга, расплылся в улыбке.

— Это было прошлой осенью. Я пришел на вокзал и решил, что сяду на первый уходящий поезд. Я мог уехать в Харьков, Киев или в Одессу. Первым приехал одесский.

— Долго ехал? — спросила я.

— Двадцать два часа. Ехал и все время думал про море. Даже во сне его видел... А что в твоей чашечке, Желток? — спросил Вован.

Ника заглянула в мою чашку.

— Дерево и корни.

Откуда она узнала?

Это была моя история. В Одессе родилась моя прабабушка. Она много раз рассказывала про день своего рождения за

праздничным столом, вокруг которого собирались все родственники. Тут непременно было оливье и красная икра на половинках яйца, слоеный наполеон громоздился на уголке книжного шкафа. Радостная моя прабабушка говорила так: "Я родилась в Одессе в 20-м году. Место — Отрада, улица Ясная. Белые отступали, красные наступали. Мой папа и дядя Вася пошли за доктором. Двумя разными путями, потому что вокруг шли бои". Это была первая история, которую я услышала про этот город. Мне нужно было обязательно увидеть эту улицу Ясную. Понять, в чем отрада.

— Знаешь, как называется этот пляж? — спросил Тимофей.

— Отрада, я уже подумала об этом, — ответила я.

В чашке Тимофея мы тоже обнаружили поезд. Его историю мы уже знали.

— Ага! Дерево и поезда! — сказала я. — А что у тебя, Ника?

На дне ее чашки я увидела самолет.

— Тут самолет! — закричала я.

В этот момент где-то в глубине рюкзака Ники запищал телефон. Ника сняла трубку и стала говорить по-английски. Она описывала море и то, как мы с ней познакомились сегодня, как рисовали портреты друг друга, как пришли на пляж. Единственное, о чем она молчала, были наши спутники в белых футболках.

Главный Хирург смотрел на Нику очень внимательно. Потом насутился.

— Вот так всегда! — сказал он другу.

Море сделалось совсем прозрачным и серым...

Тем летом мы купались с Никой почти каждый день. А когда наступила осень, явился рыжий шотландец и увез ее в Англию.

Примерно в это же время Главный Хирург нашел себе девушку. Она оказалась совсем не похожей на Нику. Темноволосая, строгая, на голову выше моей подружки. И если у Главного Хирурга по-прежнему просматривались женские тонкость и гибкость, то дама его сердца, напротив, напоминала конкистадора.

Ну, а его друг Тима стал моим другом. Похоже, я тоже остаюсь в Одессе.

Я часто вспоминаю тот день. И кофе под дождем... Мы допили кофе, поднялись по ступенькам и спрятались под навес, где слышалась музыка. Внизу на пляже, на узкой площадке под козырьком, темнокожий парень учил группу девушек танцевать румбу. Дождь летел со всех сторон. Мы тоже танцевали, повторяя движения пластичного, влюбленного в самого себя учителя танцев. И подпевали про "корасон эспирато", сердце, полное надежд.

Потому что у каждого из нас были и остаются надежды, связанные с этим городом у моря.

Так началось наше первое лето в Одессе.



с неотвратимым злом предreshена. Но воспитанное сознание по-прежнему борется, не сдается.

Благоговейный трепет охватывает человека, стискивает сердце в цепкие объятия страха, когда он приближается к неподвижно лежащему, бездыханному. Он старается уже не смотреть в эти глаза, безучастно устремленные вверх, посиневшие безмолвные губы, бледные застывшие лица, на которых покоится печать великого страдания, вынужденного прощания с жизнью. Они истреблены, они похищены ею.

Но этот другой — он шевелится, бессмысленно вращая глазами, беспомощно вороша пальцами сырую землю и, надываясь, что-то бессвязно лепечет. Но человек оглушен, он не слышит того, что молвит ему этот мальчик, совсем ребенок. Он улыбается, он плачет, он счастлив, что отыскал, наконец, среди бездн трупов живого, теплого. Он узрел надежду в этих огромных чистых глазах. Он обхватывает это хрупкое тело руками, поднимая эту бесценную ношу, это невинное дитя, бережно прислоняя его к себе. Мальчик спасен, он выживет. Его грудь приподнимается, и он испускает еле слышный, слабый, стиснутый болью стон. Он дышит, он отчаянно цепляется за жизнь.

Поднявшись, герой, хромя, пробирается сквозь завесу черного едкого дыма, покидая этот ужасающий загробный мир, где сотни бесплотных душ, отколотых от жизни, возвышаются в беспредельную пустоту. Непро-

глядный мрак обступает человека. Он назойливо, крадучись, стучится к нему, желая его поглотить. Но человек, дрожа всем телом, шатаясь, словно пьяный, бредет вперед. "Не останавливайся!" — твердит он самому себе, повторяя, словно в бреду. Уши заполняет шум, а в мозг проникает пустота, обездвиженность. Тысячи звездочек, зажженных, словно иллюминация, пляшут в помутневших глазах. Пред человеком разворачивается бездна, и он, нечаянно оступившись, потеряв равновесие, проваливается в нее, а руки по-прежнему, словно обмазанные клеем, крепко стискивают хрупкое тело мальчика.

Потревоженный назойливым криком толпящихся пассажиров, старик пробуждается. Вздурженный, глядит в окно. Пора.

— Вы выходите? — сухо кашлянув, обращается он к массивной мужской спине в черном. Спина безмолвствует. Старик, шаркнув тростью, пытается протиснуться вперед.

— Куда вы лезете! — сердито заявляет сильно надушенная дама в цветастой кофточке, невольно задетая тростью.

— Я тоже выхожу... — кротко отвечает старик. Двери с шумом распахиваются, и толпа выливается на воздух.

Его снова вытолкнули, выпихнули, словно плевков на пыльную улицу. А он, в прогнувшейся фетровой шляпе, изрядно поношенном сером пальто, бывшем в моде в 50-х, опершись о трость с поцарапанным набалдашником, хромя, ковыляет вперед, старик, солдат, герой.

ритмологическую идентичность отдельных авторов, позиционные типы синтаксической ритмовки, графическую форму стиха и разнобразные приемы рифмотворения.

В названии слышится уловимая перекличка с Гумилевым, обращение к синтезу мировой культуры, который в историческом времени русского языка XXI века в огромном географическом пространстве — русский мир — воспроизвел чувство сопричастности с судьбой культуры великой России не как гость и далекий друг, а как первородное дитя. Во многих стихах участников можно опознать традиции Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полонского, Блока, Маяковского, Пастернака, Ахматовой, Мандельштама, Черного, Есенина, Бродского, Ахмадулиной и других.

Рафаэль Айзенштадт наткнулся на золотую жилу, на певучесть души соотечественников, ту генеральную тенденцию жизни русского зарубежья, когда стихия духовной жизни выразила желание говорить высоким поэтическим слогом, и хлынули в стихи участников турнира паузники, ударники и тактовики русской поэзии, и даже особые ритмы, которые не поддаются контролю, особые приемы просодии, но чаще тяготение к классическому поэтическому рисунку, яркой незатертой звонкой рифме и свежему поиску блестящих дерзких созвучий.

У каждого стиха есть своя тайная борьба мастера со словом, как борьба укротителя с тигром, и, как говорил Илья Сельвинский, "малейшая неточность — и тигр тебя искалечит". Подчиняясь магической силе стиха, мы не слушаем, а переживаем душу поэта. Пользуясь гегелевским определением, можно сказать, что процесс развития поэта есть "беспрепятственное саморазвитие в себе самом его Прометея", который "зажигает огнем души мир вокруг себя".

Поэтическое искусство, в первую очередь, воспринимается на уровне подсознания тем, что вызывает высокие волны духовной жизни через необъяснимые огненные токи нервов поэта, которые рожают то особое эстетическое переживание, объясняя необъяснимое тяготение каждого к поэтическому слову. В высоком стихе переживание хлещет кровью из аорты, требуя особой формы.

Ряд участников конкурса обнаружили искусство высшего пилотажа, знание техники и азбуки сложнейшего поэтического дела.

Важно то, что у финалистов не было пустопорожних строк. В их стихах чувствовалось напряжение подлинного вдохновенья, прекрасная ясность, точность строгого мастерства, интонационная неповторимость.

Торжественно высок и царственно возвышен мелодиями молитвенной скорби голос Ульяны Шереметьевой (Потсдам), ставшей обладательницей Золотой короны и звания Королевы поэтов.

Удивительно яркий поэтический мир Наталии Пендл (Лампертхайм), полный внутреннего драматизма и упоения соками слова.

В небесной глади открываются вдохновенные мысли Олег Каширский, вслушиваясь в объятия тишины, душевные предчувствия и сомнения.

В поисках свидетельств трагического мига отправляется в поэтические миражи Евгения Рудницкая, наслаждаясь музыкой звукового многоголосья.

В альманахе ярко представлена любовная лирика: Феликс Зигельбаум (Бад-Эмс), Александр Грозубинский (Австралия), Леонид Михелев (Гамбург), Алин Асвиан (Дюссельдорф), Марина Авербух (Берлин), Эмма Слободникова (Украина), Радомиря Шевченко (Гамбург), Роман Вайнер (Мюнхен), Леонид Дынкин (Израиль), Ирина Полякова

Оксана МАКАРЧУК

Крашенный лебедь

Кому-то лебедь скучным показался, Безликой белизна его была. И мастер рьяно за работу взялся, Оранжевыми сделав два крыла.

Раскрасил шею желтым и зеленым, В бордовый грудь, а в голубой бока. Цвета он смешивал легко и упоенно, Порчала кисть, как крылья мотылька.

Он отступал, окидывая взглядом Ньюансы, блики, точность, пестроту. Хвосту добавил сини винограда, На лбу провел пурпурную черту.

То был шедевр! Но обладать им мало — Признание публики для мастера бальзам! Он ждал похвал и почестей, и славы, Восторга экзальтированных дам.

Был вернисаж, и он — гвоздем программы. Маслитые все гости собрались, Ходили парами, кивали головами. А лебедь грустно вглядывался ввысь.

Хвалили мастера и белизну ругали... Как мало лебедей, как много попугав!

Фонарь

Несу фонарь зажженный днем, Рассеив мрак своим огнем. И сотни душ спаслись невольно, Идя за этим фонарем.

Смущает ночью души мрак — Во тьме таиться может враг. И те, кто слаб и разуверен, Сдаются, опуская флаг.

Дай, Боже, света фонарю! Я силой собственной горю. А души слабые стеноют И уповают на зарю.

Поэты

Поэты сбиваются в стаи, Поддавшись влеченью к искусству, Свои обожженные чувства Изящно в стихи облекая.

С пером и бумагой пускаясь На поиски слова и формы, Словесные строя реформы, В безденежье вечном скитаясь.

Друг другу читая поэмы, Сражаясь на кончиках перьев. Пророка паденье империй, Живут над землею поэты.

Не вечен талант! Умирая, Он гаснет легко и неслышно. И с вечной песней сквозь крышу Душа улетает, сверкая.

Известно, что нет общих рецептов для творчества, и у каждого поэта свой путь. Ни-что не должно сковывать живительную воду творческого источника. Ведь в подлинном стихе все сверкает разнообразными красками, кипит, бурлит, звучит многовариантностью ритмов, подобных ритмам природы и окружающего мира, бьет ключом через край, демонстрируя парение свободного полета.

Каковы бы ни были отдельные поэтические судьбы участников этого турнира, сам турнир занял свое место в истории литературы и культуры русского зарубежья как вовсе не случайное явление, а знаковое событие со всем своеобразием поэтической речи XXI века, и заслужил к себе серьезного отношения.

В собранном составителем Рафаэлем Айзенштадтом альманахе "Золотая книга" мы увидели благодарную стихию поэтической речи, общее отношение к русскому языку и русской культуре, глубокое понимание поэтических и эстетических законов. Могло создаться ощущение, что некоторые поэты блуждают в поэтическом лабиринте или про-биваются к свету, но, несомненно, для всех путеводной звездой был Александр Пушкин.

Этот альманах точно определяет вехи русского поэтического зарубежья в XXI веке, разнообразные эстетические практики конкретных поэтов четвертой волны русского зарубежья через семантику их поэтического словаря и их уровень работы со словом, но самое главное — стратегии и ценности русской эмиграции, лебединые песни этой четвертой волны, особенности ритмики, метрики и строфики современного поэтического словаря. Большинство участников альманаха пишут традиционным классическим стихом, основанном на регулярном чередовании ударных и безударных слогов. При пристальном анализе можно выявить индивидуальную

(США), Инна Санина (США), Лео Химмельзон (Мюнхен), Светлана Савицкая (Москва). И взгляд на собственную поэзию: Антонина Белова (Москва), Нелли Кунина (Дюссельдорф), Любовь Знаковская (Израиль), Борис Эскин (Израиль), Муза Извекова (Калл-Келденх), Валентина Кайль (Лемго), Валентина Чайковская (Израиль).

Многих победителей и финалистов отличает глубина и сила дарования. Некоторые поэты главный упор делают на метрику, усиленно используют анафоры, эпитеты, аллитерации для особой синтаксической организации стиха. Уникальным представляется опыт Евгения Кагана (Дортмунд), совмещающего внутри текста разные стихотворные формы, которые виртуозно акцентируют апокалипсические моменты эмигрантского бытия.

Но, как заметил организатор турниров Рафаэль Айзенштадт, "И всегда среди подлого и невозможного нам согрели душу гимны любви, юности, красоте, верности и чести. Это они держали нас на плаву — те неразменные ценности, которые помогали нам выжить. И как тысячелетия тому, все опять сводится к десяти заповедям: не убий, не укради, не возжелай, чтить..."

Именно эта незаурядная работа организаторов турниров и поэтических альманахов получила самую высокую оценку престижного фонда "Россия XXI век" и портала "Международный университет общественного развития", присвоивших Рафаэлю Айзенштадту и Галине Педаховской звание народных профессоров общественного развития и наградивших их — организаторов турниров и издателей альманахов в Дюссельдорфе — орденами "За выдающийся вклад в общественное развитие, за верность традициям русской культуры за рубежом".

Янина ЖЕЛТОК

КОФЕ ПОД ДОЖДЕМ

Дело даже не в том, что мы пили кофе под дождем. Мы пили его на фоне моря. Летом в Одессе. После урагана, когда с морем все еще происходило что-то невероятное.

Уже месяц я жила в Одессе, но еще ни разу не купалась в море. Июнь выдался теплым и дождливым. Дел было много, а вот компании для морских прогулок все не находилось. Тут возникла Ника. Я сказала комплимент по поводу ее загара, а Ника ответила:

— Я каждый день бываю на море. Море ведь самое лучшее, что есть в Одессе. Ты вот на каком пляже купаешься?

— Вообще-то, так получилось, что ни на каком, — смутилась я.

— Как... — миссия Ники на сегодняшний день была определена, — купальник у тебя есть?

Купальник у меня имелся, и очень красивый, он спокойно лежал на дне чемодана, уверенный, что его час вот-вот наступит.

По дороге мы рассказали друг другу великое множество знойных историй из жизни. Я узнала между прочим, что Ника влюблена, и это тот самый повод, ради которого она так усердно загорает и плавает.

— Я все время хочу говорить с ним, а он, он почему-то не звонит, — вздыхала Ника.

Море было теплым и густым, как кисель.

Плыть было чудесно, и я пожалела, что не ходила купаться каждый день.

— Какой восторг! — кричала я.

Ника плыла и широко улыбалась.

Она была художницей и даже на пляж брала коробку карандашей. Мы решили нарисовать портреты друг друга. И только мы закончили и поменялись листами, — пара мелких капель упала на мой портрет. Я подняла глаза и увидела, что с морем происходит что-то необыкновенное.

Море начало менять цвета. Из темно-синего оно превратилось в зеленое с сиреневыми лентами волн. Казалось, оно прошло через компьютерный фильтр, чтобы стать таким контрастным. Небо наполнилось темным ультрафиолетом и выпустило из себя чернильные нити прямо в воду.

Зонтики улетали от хозяев, девушки заворачивались в накидки. На берегу поднялась суета.

— Нет, я не могу, я позвоню ему сейчас! — кричала Ника.

— Звони, я хочу его увидеть! — мне и правда было интересно увидеть мучителя Ники. Человека, которого мы успели прозвать Главным Хирургом.

— Какого цвета у вас море? — говорила Ника в трубку. — А у нас зеленое с фиолетовыми полосками. Моя подруга Желток хочет познакомиться с тобой! Давай! Давай! — отвечала она.

Оказалось, Главный Хирург только что пришел на соседний пляж. Мы встречались через пять минут.

тину происходящего из окна трамвая. На фоне застольной музыки Привоза две взлохмаченные фурии, столкнувшись в непримиримой перебранке, бурно выясняли отношения, прокуренным басом осыпая друг друга нелецеприятной бранью.

Наполнившись до отказа, вагон, чуть качнувшись, тронулся в путь. Опершись одной рукой об изголовье пассажирского сиденья, а другой крепко стиснув трость, старик едва балансировал под напором довлеющей позади массы. Духота нестерпимая! Воздух в вагоне, казалось, был разделен на скудные порции, которых едва хватало на всех. Подобно бдительным конвоирам, сопровождающим арестанта, старика обступили две красные косынки. Они с горячностью обсуждали новые тарифы, сетуя на произвол властей. Господин молча сдерживал их беспощадный натиск, но стойко держался, безропотно покоряясь своей незавидной участи. Отсрочив ненадолго свою злободневную дискуссию, косынки с неистовым негодованием обрушились на молодую девушку, что незаслуженно заняла место.

— Молодая, могла бы и постоять! — несмешное старушечье назидание.

Не желая пререкаться с почтенными дамами, молодая особа, цепляясь о поручень, с трудом поднялась с места, продемонстрировав свой округлившийся живот. Пристальные косынки, побагровев, замерли, нерешительно отстранившись, уступая девушке место в проходе. Особа в деликат-

Последние из храбрых собирали полотенца и убежали с пляжа, носившего имя Отрада. Только две фигуры в белых футболках и шортах не спешили исчезать. Их белые одежды светились на фоне бушующего моря. Оба высокие и загорелые, они узнали нас издалека, замахали руками и даже пару раз подпрыгнули в воздух. Это был Главный Хирург и его товарищ.

Над горизонтом зажигались ломаные стрелы. Большой корабль с парусами боролся с ураганом недалеко от берега.

— Это Владимир, это Тимофей, — сказала Ника. — Плыдем!

Мы зашли в море вчетвером. Мы плыли среди огромных соленых волн, под дождем и под градом из маленьких льдинок.

"Кто из них Владимир, а кто Тимофей? — промчалось в моей голове. — Наверное, Главный Хирург — тот, что постарше. Второй слишком кудрявый, молодой, и даже похож на девочку. Нет, он не может быть мучителем!"

Но тот, что был старше и серьезнее, тот, в ком я признала Главного Хирурга, все время держался рядом со мной!

Дождь не переставал, когда мы с Никой и одним из ребят оказались под навесом. Здесь лежали лодки, большие желтые зонты и шезлонги.

Море и небо сделались серыми, было похоже, что все краски слились в воду, и теперь отдыхают там на дне. Парусник отошел к горизонту.

ном положении, воспользовавшись поддержкой отзывчивого студента-волонтера, спустилась с подмостков трамвая, увлекая за собой добрую половину путешествующих. Старик, согнувшись, опустился в освободившееся место. Раздался предупредительный клич кондуктора, призывающий к совестливости граждан. Старик, ожившись, сунул трясущуюся руку во внутренний карман пальто, и немного пошарив, предъявил пенсионный. Кондуктор, одобрительно кивнув, двинулся дальше, ловко лавируя, словно канатоходец, по дребезжащему трамваю.

Сдвинув шляпу на брови и зажав трость между коленями, старик вперил свой неподвижный взор в окно. Дома, улицы, машины, люди — все мелькает, смешивается. Зрение утомлено. Веки тяжелеют, смыкаются. В полудреме в трясущемся вагоне, в толкотне, в непроницаемой толще человеческого, бренного, старик засыпает.

Из тугой туманной пелены раздается неясный нарастающий гул, похожий на раскаты грома. За ним следует озлобленный дикий взрыв, потом еще один. Это не похоже на содрогание вагона, это глас памяти, вызывающий из самых недр. Гулькие, резкие, пронзительные звуки сменяются свистом, отрывистым, теряющимся в монотонном эхе.

Но это не свирепствование стихии, это неутомимое сопротивление вражды, хаоса, горнило страха и непримиримой ненависти, нескончаемая тирада огня, адская машина

Новый приятель нес наши рюкзаки и вещи друга, который уплыл в сторону корабля.

— Послушай, Ника, кто из них Главный Хирург? — шепнула я на ухо Нике.

— Неужели ты не понимаешь?!

Рядом со мной рослый Тимофей рассказыывал про йогу.

— Кто? — снова спросила я Нику.

— Он, — и Ника взмахнула рукой в сторону моря. Кудрявый Вова только что выпрыгнул из бушующих волн. Он бежал и вопил:

— Желток! У тебя фиолетовые губы!

— Ты гад, Вован, — ответила я.

— Фиолетовые губы, — дразнился Главный Хирург. Он прыгал то на одной, то на другой ноге, и мотал головой, как промокший пес.

Я дрожала под моим полотенцем.

Оказалось, летом на море можно замерзнуть.

— Надо выпить горячего кофе! — сказал йог Тимофей. — Идем, Володя!

И вдруг они оба умчались, шлепая по лужам.

— Ну, и где они найдут это кофе? — стучала зубами я.

Ника растирала меня полотенцем и рассказывала про городок, из которого приехали наши приятели. Про заводы и шахты, бедность и безнадёгу.

Я отвечала, что они симпатичные, и меня совершенно не волнует их родной город. Потому что... Потому что я кое-что знаю про города. И кое-что про мужчин. В большом городе так непросто найти свое счастье. Шахты — шахтами. Счастье — счастьем.

Юлия СЕДОВА

ГЕРОЙ

По изогнутым линиям рельсов громыхал допотопный трамвай. Надрываясь, брюзжа, кричтел он, переваливаясь своим грузным корпусом, словно одряхлевший бродяга, которому пора на покой. Пассажиры, сменяясь, как калейдоскопные картинки, непрестанно заполняли содержимое изможденного вагона. Словно мулы, нагруженные увесистым скарбом, влезали они, бесцеремонно расталкивая друг друга. Среди прочих протиснулся и пожилой господин, вернее, его протолкнули туда тележкой. Он был довольно неприметного вида, впрочем, немудрено, старики мало отличаются друг от друга. Потрепанное серое пальтишко, фасоном, бывшим в моде в 50-х годах, прогнувшаяся фетровая шляпа неопределенного темно-зеленого оттенка, утратившая былую форму, и ветхая деревянная коричневая трость с поцарапанным набалдашником. Столь незамысловатый облик дополняла неприятная внешность старика, отталкивающая своей приевшейся банальностью, — обветренное красное лицо, сморщенный нос, серебро, проглядывающее на поревших висках, глубокие морщины, прорезающие высокий лоб, и неэстетичная сетка у глаз.

В беспросветной толчее плотного сгустка тел стоял он, прижатый к поручню, нагретому солнцем, и застывшим взором наблюдал кар-

Галина ХОТИНСКАЯ

"Золотое сердце России"

Об альманахе поэзии "Золотая книга" участников Международного поэтического турнира в Дюссельдорфе, проходившего в 2001–2011 гг.

Как заметил Теофиль Готье, "Счастливые названия книг труднее подыскать, нежели помыслить".

Название указанной антологии "Золотая книга" многозначно и поэтично. В этом названии и любовь к России, к общей судьбе русских поэтов, и даже собственная родовая русская поэзия, создавшего притяжение к поэтическому Слову, обладающему чудесной действительностью. Этот альманах извлек из самых глубин эмигрантской жизни вечный огонь поэтического вдохновения и погрузил душу участников турнира в любовь к поэтическому Слову, напомнив, что поэты — всегда приверженцы Божественной среды. Ведь подлинный стих всегда наполнен Божьим дыханием, крылатостью, огнем Божественного присутствия, открытием неисчерпаемости возможностей Слова и вдохновения.

И в самом деле, эта книга стала краеугольным камнем поэтического русского зарубежья в XXI веке. Ведь на этот праздник "Золотой книги" съехались поэты из Австралии, США, Израиля, России, Украины и всех уголков Германии.

Ведь поэзия для четвертой волны эмиграции — это защита и очищение души от скверны внешнего мира, способ на высшем

уровне осмыслить и объяснить душевную смуту и разногласия общественной жизни России, Германии и всего мира. Ведь многих эмигрантов в отрыве от отчества охватило разочарование от несбывшихся иллюзий, Поэзия спасла их от тотальной безысходности. Не следует забывать, что путь большинства участников мировых поэтических турниров протекает в стороне от большого пути русской поэзии. Да и четвертая волна литературной эмиграции вступила в литературную борьбу в трудную для мировой поэзии пору. Но, как мудро заметил Дмитрий Быков, "Русский — всегда эмигрант... Эмиграция — ведь это вовсе не обязательно отъезд из страны. Это иногда еще отъезд страны из-под тебя".

Когда-то в 1841 году Александр Герцен написал работу "Дилетантизм в науке", раскрывающую душевную смуту, охватившую человека "промежуток": "Мы живем на рубеже двух миров: оттого особая тягость, затруднительность мысли для мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшие мировоззрения потрясены, — но они дороги сердцу, новые убеждения, многообъемлющие и великие, не успели еще принести плоды; первые листья, почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет, и они чужды серд-

цу. Множество людей осталось без прошедших убеждений и без настоящих. Другие механически спутали долю того и другого и погрузились в печальные сумерки. Люди внешне предаются в таком случае ежедневной суете; люди созерцательные — страдают: во что бы то ни стало ищут примирения, потому что с внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию человек не может жить".

Да и окружающий российских эмигрантов в Германии "непоэтичный мир" все настойчивее оживляет в памяти суждение С.П. Шевырева о "веке-торгаше", о том, что "...торговля управляет нашей словесностью — и все подчинено ее расчетам; все произведения словесного мира расчислены на оборотах торговых; на мысли и формы наложен курс... Феб не внимлет звуку металла... только вдохновенье не слушается расчета: оно свободно, как мысль, как душа!". Да и под подмигивающим, леденящим сердце и душу правительственным оком трудно существовать "питомцам муз и вдохновений", тем более в эмиграции, да еще в такой чужой стране, как Германия. Но составители альманаха "Золотая книга" и организаторы турнира постигли нравственное начало русского жизненного уклада — обрести духовное единство на основе поэтического Слова, которое сообщает высокий духовный и этический смысл любой жизни. Они прочувствовали,

что лирика для многих эмигрантов не только способ художественного самовыражения, но и способ художественного самопознания и познания мира вокруг себя.

Рафаэль Айзенштадт и Галина Педаховская попытались соединить завещания "Золотого и Серебряного веков" с духовным посткоммунистическим и постмодернистским расколом переживаний в постсоветском литературном пространстве. А это пространство демонстрирует безысходную противоречивость и обособленность индивидуального сознания, привнесенного в постсоветский социум, вытолкнувшего их за рубеж, благодаря современному неокapиTaлизму, ввергнувшему все человечество в глобальную панику и катастрофы глобального масштаба под знаком вечных "проклятых вопросов" об истории и поэтическом предназначении.

Организаторы турнира и создатели альманаха на протяжении десятилетий вносили радость общения в нелегкую эмигрантскую жизнь. Сама идея турниров и альманахов проникнута высокой гуманистической идеей — выстроить гармонические отношения при участии в совместном литературном труде. Конечно, не каждому удавалось выполнить уникальную партию в мировом поэтическом хорале, поскольку, как сказала португальская поэтесса Мари Велю да Кошта, "Настоящий поэт — это золотой шип, вонзенный в спину мира. И его судьба не равнозначна его географии, раздута улыбающимися жуликами". Составители альманаха "Золотая книга" дали почувствовать особый ритм поэтической речи периода глобализации, четкую членимость текста на стихотворные строки, повышенную эмоциональную насыщенность многих стихотворений и выбрали самое лучшее за десятилетия литературной сортировки.

— Тимофея привезла сюда девушка, — рассказывала Ника. — Она одесситка, я ее знаю, они встречались где-то там, в его Луганске. И вот однажды она уезжает домой, и прямо перед вагоном говорит: или мы едем вместе, или расстаемся прямо сейчас. Ну, и он, конечно, — ты видела, парень решительный, — шагнул в вагон! Правда, тут они разбежались.

Кофе приплыло к нам по воздуху. Каждый из приятелей держал в руках по две чашки кофе в фарфоровых чашках на блюдцах.

Я выпила первый глоток и перестала дрожать.

— Давайте погадаем на кофейной гуще! — предложила Ника и поглядела в чашечку Вована. — Я вижу три поезда!

Вован, больше похожий на доверчивого кудрявого щенка, чем на Главного Хирурга, расплылся в улыбке.

— Это было прошлой осенью. Я пришел на вокзал и решил, что сяду на первый уходящий поезд. Я мог уехать в Харьков, Киев или в Одессу. Первым приехал одесский.

— Долго ехал? — спросила я.

— Двадцать два часа. Ехал и все время думал про море. Даже во сне его видел... А что в твоей чашечке, Желток? — спросил Вован.

Ника заглянула в мою чашку.

— Дерево и корни.

Откуда она узнала?

Это была моя история. В Одессе родилась моя прабабушка. Она много раз рассказывала про день своего рождения за

праздничным столом, вокруг которого собирались все родственники. Тут непременно было оливье и красная икра на половинках яйца, слоеный наполеон громоздился на уголке книжного шкафа. Радостная моя прабабушка говорила так: "Я родилась в Одессе в 20-м году. Место — Отрада, улица Ясная. Белые отступали, красные наступали. Мой папа и дядя Вася пошли за доктором. Двумя разными путями, потому что вокруг шли бои". Это была первая история, которую я услышала про этот город. Мне нужно было обязательно увидеть эту улицу Ясную. Понять, в чем отрада.

— Знаешь, как называется этот пляж? — спросил Тимофей.

— Отрада, я уже подумала об этом, — ответила я.

В чашке Тимофея мы тоже обнаружили поезд. Его историю мы уже знали.

— Ага! Дерево и поезда! — сказала я. — А что у тебя, Ника?

На дне ее чашки я увидела самолет.

— Тут самолет! — закричала я.

В этот момент где-то в глубине рюкзака Ники запищал телефон. Ника сняла трубку и стала говорить по-английски. Она описывала море и то, как мы с ней познакомились сегодня, как рисовали портреты друг друга, как пришли на пляж. Единственное, о чем она молчала, были наши спутники в белых футболках.

Главный Хирург смотрел на Нику очень внимательно. Потом насутился.

— Вот так всегда! — сказал он другу.

Море сделалось совсем прозрачным и серым...

Тем летом мы купались с Никой почти каждый день. А когда наступила осень, явился рыжий шотландец и увез ее в Англию.

Примерно в это же время Главный Хирург нашел себе девушку. Она оказалась совсем не похожей на Нику. Темноволосая, строгая, на голову выше моей подружки. И если у Главного Хирурга по-прежнему просматривались женские тонкость и гибкость, то дама его сердца, напротив, напоминала конкистадора.

Ну, а его друг Тима стал моим другом. Похоже, я тоже остаюсь в Одессе.

Я часто вспоминаю тот день. И кофе под дождем... Мы допили кофе, поднялись по ступенькам и спрятались под навес, где слышалась музыка. Внизу на пляже, на узкой площадке под козырьком, темнокожий парень учил группу девушек танцевать румбу. Дождь летел со всех сторон. Мы тоже танцевали, повторяя движения пластичного, влюбленного в самого себя учителя танцев. И подпевали про "корасон эспирато", сердце, полное надежд.

Потому что у каждого из нас были и остаются надежды, связанные с этим городом у моря.

Так началось наше первое лето в Одессе.



с неотвратимым злом предreshена. Но воспитанное сознание по-прежнему борется, не сдается.

Благоговейный трепет охватывает человека, стискивает сердце в цепкие объятия страха, когда он приближается к неподвижно лежащему, бездыханному. Он старается уже не смотреть в эти глаза, безучастно устремленные вверх, посиневшие безмолвные губы, бледные застывшие лица, на которых покоится печать великого страдания, вынужденного прощания с жизнью. Они истреблены, они похищены ею.

Но этот другой — он шевелится, бессмысленно вращая глазами, беспомощно вороша пальцами сырую землю и, надрываясь, что-то бессвязно лепечет. Но человек оглушен, он не слышит того, что молвит ему этот мальчик, совсем ребенок. Он улыбается, он плачет, он счастлив, что отыскал, наконец, среди бездн трупов живого, теплого. Он узрел надежду в этих огромных чистых глазах. Он обхватывает это хрупкое тело руками, поднимая эту бесценную ношу, это невинное дитя, бережно прислоняя его к себе. Мальчик спасен, он выживет. Его грудь приподнимается, и он испускает еле слышный, слабый, стиснутый болью стон. Он дышит, он отчаянно цепляется за жизнь.

Поднявшись, герой, хромая, пробирается сквозь завесу черного едкого дыма, покидая этот ужасающий загробный мир, где сотни бесплотных душ, отколотых от жизни, возвышаются в беспредельную пустоту. Непро-

глядный мрак обступают человека. Он назойливо, крадучись, стучится к нему, желая его поглотить. Но человек, дрожа всем телом, шатаясь, словно пьяный, бредет вперед. "Не останавливайся!" — твердит он самому себе, повторяя, словно в бреду. Уши заполняет шум, а в мозг проникает пустота, обездвиженность. Тысячи звездочек, зажженных, словно иллюминация, пляшут в помутневших глазах. Пред человеком разверзается бездна, и он, нечаянно оступившись, потеряв равновесие, проваливается в нее, а руки по-прежнему, словно обмазанные клеем, крепко стискивают хрупкое тело мальчика.

Потревоженный назойливым криком толпящихся пассажиров, старик пробуждается. Вздуродженный, глядит в окно. Пора.

— Вы выходите? — сухо кашлянув, обращается он к массивной мужской спине в черном. Спина безмолвствует. Старик, шаркнув тростью, пытается протиснуться вперед.

— Куда вы лезете! — сердито заявляет сильно надушенная дама в цветастой кофточке, невольно задетая тростью.

— Я тоже выхожу... — кротко отвечает старик. Двери с шумом распахиваются, и толпа выливается на воздух.

Его снова вытолкнули, выпихнули, словно плевком на пыльную улицу. А он, в прогнувшейся фетровой шляпе, изрядно поношенном сером пальто, бывшем в моде в 50-х, опершись о трость с поцарапанным набалдашником, хромая, ковыляет вперед, старик, солдат, герой.

ритмологическую идентичность отдельных авторов, позиционные типы синтаксической ритмовки, графическую форму стиха и разнообразие приемы рифмотворения.

В названии слышится уловимая перекличка с Гумилевым, обращение к синтезу мировой культуры, который в историческом времени русского языка XXI века в огромном географическом пространстве — русский мир — воспроизвел чувство сопричастности с судьбой культуры великой России не как гость и далекий друг, а как первородное дитя. Во многих стихах участников можно опознать традиции Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полонского, Блока, Маяковского, Пастернака, Ахматовой, Мандельштама, Черного, Есенина, Бродского, Ахмадулиной и других.

Рафаэль Айзенштадт наткнулся на золотую жилу, на певучесть души соотечественников, ту генеральную тенденцию жизни русского зарубежья, когда стихия духовной жизни выразила желание говорить высоким поэтическим слогом, и хлынули в стихи участников турнира паузники, ударники и тактовики русской поэзии, и даже особые ритмы, которые не поддаются контролю, особые приемы просодии, но чаще тяготение к классическому поэтическому рисунку, яркой незатертой звонкой рифме и свежему поиску блестящих дерзких созвучий.

У каждого стиха есть своя тайная борьба мастера со словом, как борьба укротителя с тигром, и, как говорил Илья Сельвинский, "малейшая неточность — и тигр тебя искалечит". Подчиняясь магической силе стиха, мы не слушаем, а переживаем душу поэта. Пользуясь гегелевским определением, можно сказать, что процесс развития поэта есть "беспрепятственное саморазвитие в себе самом его Прометея", который "зажигает огнем души мир вокруг себя".

Поэтическое искусство, в первую очередь, воспринимается на уровне подсознания тем, что вызывает высокие волны духовной жизни через необъяснимые огненные токи нервов поэта, которые рожают то особое эстетическое переживание, объясняя необъяснимое тяготение каждого к поэтическому слову. В высоком стихе переживание хлещет кровью из аорты, требуя особой формы.

Ряд участников конкурса обнаружили искусство высшего пилотажа, знание техники и азбуки сложнейшего поэтического дела.

Важно то, что у финалистов не было пустопорожних строк. В их стихах чувствовалось напряжение подлинного вдохновенья, прекрасная ясность, точность строгого мастерства, интонационная неповторимость.

Торжественно высок и царственно возвышен мелодиями молитвенной скорби голос Ульяны Шереметьевой (Потсдам), ставшей обладательницей Золотой короны и звания Королевы поэтов.

Удивительно яркий поэтический мир Наталии Пендл (Лампертхайм), полный внутреннего драматизма и упоения соками слова.

В небесной глади открываются вдохновенные мысли Олег Каширский, вслушиваясь в объятия тишины, душевные предчувствия и сомнения.

В поисках свидетельств трагического мига отправляется в поэтические миражи Евгения Рудницкая, наслаждаясь музыкой звукового многоголосья.

В альманахе ярко представлена любовная лирика: Феликс Зигельбаум (Бад-Эмс), Александр Грозубинский (Австралия), Леонид Михелев (Гамбург), Алин Асвиан (Дюссельдорф), Марина Авербух (Берлин), Эмма Слободникова (Украина), Радомира Шевченко (Гамбург), Роман Вайнер (Мюнхен), Леонид Дынкин (Израиль), Ирина Полякова

Оксана МАКАРЧУК

Крашенный лебедь

Кому-то лебедь скучным показался, Безликой белизна его была. И мастер рьяно за работу взялся, Оранжевыми сделав два крыла.

Раскрасил шею желтым и зеленым, В бордовый грудь, а в голубой бока. Цвета он смешивал легко и упоенно, Порхала кисть, как крылья мотылька.

Он отступал, окидывая взглядом Ньюансы, блики, точность, пестроту. Хвосту добавил сини винограда, На лбу провел пурпурную черту.

То был шедевр! Но обладать им мало — Признание публики для мастера бальзам! Он ждал похвал и почестей, и славы, Восторга экзальтированных дам.

Был вернисаж, и он — гвоздем программы. Маслитые все гости собрались, Ходили парами, кивали головами. А лебедь грустно вглядывался ввысь.

Хвалили мастера и белизну ругали... Как мало лебедей, как много попугав!

Фонарь

Несу фонарь зажженный днем, Рассеив мрак своим огнем. И сотни душ спаслись невольно, Идя за этим фонарем.

Смущает ночью души мрак — Во тьме таиться может враг. И те, кто слаб и разуверен, Сдаются, опуская флаг.

Дай, Боже, света фонарю! Я силой собственной горю. А души слабые стеноют И уповают на зарю.

Поэты

Поэты сбиваются в стаи, Поддавшись влеченью к искусству, Свои обожженные чувства Изящно в стихи облекая.

С пером и бумагой пускаясь На поиски слова и формы, Словесные строя реформы, В безденежье вечном скитаясь.

Друг другу читая поэмы, Сражаясь на кончиках перьев. Пророка паденье империй, Живут над землею поэты.

Не вечен талант! Умирая, Он гаснет легко и неслышно. И с вечной песней сквозь крышу Душа улетает, сверкая.

Известно, что нет общих рецептов для творчества, и у каждого поэта свой путь. Ни-что не должно сковывать живительную воду творческого источника. Ведь в подлинном стихе все сверкает разнообразными красками, кипит, бурлит, звучит многовариантностью ритмов, подобных ритмам природы и окружающего мира, бьет ключом через край, демонстрируя парение свободного полета.

Каковы бы ни были отдельные поэтические судьбы участников этого турнира, сам турнир занял свое место в истории литературы и культуры русского зарубежья как вовсе не случайное явление, а знаковое событие со всем своеобразием поэтической речи XXI века, и заслужил к себе серьезного отношения.

В собранном составителем Рафаэлем Айзенштадтом альманахе "Золотая книга" мы увидели благодарную стихию поэтической речи, общее отношение к русскому языку и русской культуре, глубокое понимание поэтических и эстетических законов. Могло создаться ощущение, что некоторые поэты блуждают в поэтическом лабиринте или про-биваются к свету, но, несомненно, для всех путеводной звездой был Александр Пушкин.

Этот альманах точно определяет вехи русского поэтического зарубежья в XXI веке, разнообразные эстетические практики конкретных поэтов четвертой волны русского зарубежья через семантику их поэтического словаря и их уровень работы со словом, но самое главное — стратегии и ценности русской эмиграции, лебединые песни этой четвертой волны, особенности ритмики, метрики и строфики современного поэтического словаря. Большинство участников альманаха пишут традиционным классическим стихом, основанном на регулярном чередовании ударных и безударных слогов. При пристальном анализе можно выявить индивидуальную

(США), Инна Санина (США), Лео Химмельзон (Мюнхен), Светлана Савицкая (Москва). И взгляд на собственную поэзию: Антонина Белова (Москва), Нелли Кунина (Дюссельдорф), Любовь Знаковская (Израиль), Борис Эскин (Израиль), Муза Извекова (Калл-Келденх), Валентина Кайль (Лемго), Валентина Чайковская (Израиль).

Многих победителей и финалистов отличает глубина и сила дарования. Некоторые поэты главный упор делают на метрику, усиленно используют анафоры, эпитеты, аллитерации для особой синтаксической организации стиха. Уникальным представляется опыт Евгения Кагана (Дортмунд), совмещающего внутри текста разные стихотворные формы, которые виртуозно акцентируют апокалипсические моменты эмигрантского бытия.

Но, как заметил организатор турниров Рафаэль Айзенштадт, "И всегда среди подлого и невозможного нам согревали душу гимны любви, юности, красоте, верности и чести. Это они держали нас на плаву — те неразменные ценности, которые помогали нам выжить. И как тысячелетия тому, все опять сводится к десяти заповедям: не убий, не укради, не возжелай, чтить..."

Именно эта незаурядная работа организаторов турниров и поэтических альманахов получила самую высокую оценку престижного фонда "Россия XXI век" и портала "Международный университет общественного развития", присвоивших Рафаэлю Айзенштадту и Галине Педаховской звание народных профессоров общественного развития и наградивших их — организаторов турниров и издателей альманахов в Дюссельдорфе — орденами "За выдающийся вклад в общественное развитие, за верность традициям русской культуры за рубежом".

Илья РЕЙДЕРМАН Из дневника музыкального критика

В моем архиве давно уже лежит подготовленная к изданию книга стихов и рецензий "Музыка", ожидающая доброй помощи меценатов, или, как нынче говорят, спонсоров. Есть в ней и (к сожалению, совсем небольшой) раздел, в котором собраны, так сказать, "вольные размышления", не продиктованные газетной заботой сиюминутного отклика на только что состоявшееся событие. Две заметки из этого раздела я и предлагаю газете "Всемирные одесские новости".

Два пианиста

Всякий акт творчества, по большому счету, бескорыстен. Написанные стихи, исполненная музыка — неужели все это всего лишь акт самоутверждения (смотрите на меня — вот я какой!)? Конечно, без этого не обходится, но это лежит на поверхности и не является главным. Главным для художника является сам акт самоотдачи, сам процесс творчества, в котором он вольно и невольно трансцендирует за пределы своего эмпирического я. Всякое деяние является подлинным, если человек в нем превышает границы себя и ситуации. Да и жизнь подлинна, когда она в себе не уместяется, когда она переклестывает через край, стремится дальше. И музыка такова — она поток... Если его остановить, чтобы идеально воспроизвести этот кусочек, из нее исчезает жизнь.

Можно говорить о двух типах людей (и даже о двух типах художников) — связанных с установкой на процесс или результат. Скажем, стремление к удовольствию, которым одержимы люди нашей цивилизации, есть установка на результат. На самом деле удовольствие не может быть целью, оно должно бы возникнуть "в процессе". И когда оно превращается в цель, оно становится "разовым", мгновенным, сразу же исчерпывающимся. Человек цели, результата, даже саму жизнь превращает в подобие "работы", он везде "трудится", и в быту, и на отдыхе, и в общении с людьми, стремясь к осуществлению наиболее эффективных вариантов. Любой фрагмент жизни, превращаясь в подобие "решаемой задачи", перестает быть жизнью с ее неожиданностями и игрой, и сами мы перестаем быть импровизаторами, умеющими ответить на неожиданность, подхватить мелькнувшую возможность и развить ее просто потому, что она нам интересна, а не потому, что она ведет к цели.

Жизнь с установкой на результат предполагает не столько твое участие в ней, сколько твое воздействие, направляющее ее, твои сознательные усилия по ее формированию, "обработке" и т. п. Я говорю, что мы "умерщвляем" жизнь, но точнее было бы сказать, что мы просто создаем нечто искусственное, нечто не имеющее своей сущности и подобное рукотворной вещи. И эти артефакты мы называем жизнью.

Противоположная этому "установка на процессуальность" неизбежно ведет человека к участию, к вхождению вовнутрь ситуации, к исчезновению позиции "наблюдателя" и т. п. Собственно, именно эта установка и ведет к действительной жизни, бытию. Именно тут уместны такие вещи, как сострадание и любовь.

Как легко превратить жизнь в работу, как трудно превратить работу — в жизнь! Я невольно сравниваю двух музыкантов-исполнителей, которых слышал непосредственно друг за другом. Оба они мне очень симпатичны. Но первый пианист, как я теперь ясно понимаю, стремится к результату. Его, прежде всего, интересует: "Как я сыграл?". Он играет замечательно, страстно, наполняя все живыми эмоциями, он продумывает трактовки, он убеждает, вызывает восхищение. Он — мастер! Разумеется, хочется большего: чтобы исполнение было откровением. Но с этим — трудности. Он сделал блестящую карьеру. Но... можно ли сполна раскрыть трагические глубины произведений, будучи духовно благополучным, не имея собственного экзистенциального трагического опыта? Разумеется, можно многое умом понимать. Трагедию в музыке он доносит через, так сказать, объективное содержание произведения, но не через себя самого. Когда он играет — темпераментно, полностью отдаваясь самому процессу исполнения, — то кажется, что он живет музыкой, и что музыка эта живая. Во всяком случае, он нас в этом способен убедить. Но по здравому размышлению понимаешь, что тут работа, что он жестко контролирует себя, что "техника" не просто является предметом особой заботы, но является и главным средством для создания впечатления художественности. Я большой его поклонник, и поскольку "я сам обманываться рад", то я этого не замечал. Уж очень хорошо он умеет имитировать живую жизнь музыки, за что его, впрочем, не следует осуждать, ибо так делают почти все музыканты-исполнители. Другое дело, что критерии того, что значит хорошо играть, у них могут быть разными, — но все они стараются "хорошо играть", то есть наилучшим образом исполнить свою работу. По большому счету, все это "вторичная музыка". Присутствие "вторичных" продуктов на "рынке", всего лишь имитирующих "первичные", как раз и характеризует эпоху постмодерна, в которой мы живем. Первичная музыка встречается очень редко.

...Но буквально на следующий день мне довелось услышать "первичную музыку". Пианист музицировал. Все исполнители стремятся к тому, чтобы создать впечатление живого музицирования. Но тут был как раз тот случай, когда (несмотря на наличие нотной записи на пюпитре рояля — обычно пианисты играют произведения по памяти), казалось, что музыка возникает прямо сейчас. Что ее импровизируют, ею наслаждаются, ей удивляются, ей, этой музыкой, играют, отдаются ее движению. Поначалу я недоумевал: какова трактовка произведения, что исполнитель "хочет сказать"? А он ничего не хотел

мне сказать, равно как и не пытался доказать, какой он превосходный пианист, — казалось, что в игре его не было никакой цели. Что музыка возникает так же естественно, как из-за облаков выходит солнце, как растет дерево, как улыбается обрадованная появлением любимого девушка. Она рождается, ее живой поток то несется стремительно, то успокаивается, принося ощущение гармонии и умиротворения, то становится капризно-игривым, то совершенно неожиданно замолкает. Пианист не ставит в финале жирной точки, на мгновение оставляя публику в некотором недоумении, кажется, что он не то что пренебрегает "знаками препинания", но воспроизводит живую речь, которая вообще не скована законами грамматики, оставаясь при этом вполне членораздельной. Он не "играл музыку", не занимался умелым и расчетливым "производством звуков", не работал, не выделял драгоценную звуковую ткань (его безупречная техника была незаметной; кажется, Лев Толстой говорил, что настоящее мастерство должно быть незаметным). Он просто жил музыкой и давал ей — через себя — жизнь. И эта живая музыка ненавязчиво приоткрывала потаенные глубины своего содержания. В том числе и глубинный трагизм, ибо жизнь всегда трагична, она всегда "висит на волоске", будучи под угрозой небытия.

После концерта я зашел за кулисы, чтобы его поздравить. Я увидел перед собой человека с тревожными глазами, человека, несмотря на очевидную всем слушателям genialность, житейски, да и душевно небогатого. В нем не было и тени самодовольства. Только что слушатели аплодировали ему стоя — высший знак признания! — можно было бы хотя бы радостно улыбаться, отвечая на поздравления. А он как будто бы уже забыл о пережитом успехе и был абсолютно естественным, даже "домашним". И мне стало понятно, что и радость, и трагизм исполнявшейся им музыки он находил не в нотах, а в самом себе. Он играл экзистенциально, из всего своего существа, всей своей судьбы.

Я хотел бы, описывая позицию исполнителя (да и вообще всякого человека, умеющего жить "процессуально", как бы не стремясь к готовому результату, к намеченной цели), подчеркнуть главное, что тут возникает: свободу. Свободу исполнителя. И свободу музыки, которую как бы вызволили из нотных папок, а заодно освободили и от груза представлений о том, "как надо" это играть. Этой свободе нет цены.

А поскольку музыка здесь — только пример, только повод для размышлений о жизни, то речь, следовательно, идет о нашей способности быть свободными ("бесцельны-

ми", "беззаботными", не одержимыми стремлением чего-то достичь и что-то ухватить). Это кажется недостижимым, как постоянное состояние духа. Но хоть на короткое время — может быть, это возможно? Если да, то тогда и возникает чудо музыки, и чудо жизни, которую мы не "делаем", не насилуем, которой мы позволяем быть.

Рихтер

Слушаю записи Рихтера — как-то по-новому. Вдруг понимаю, что он делает. Мы к произведению привыкаем, все в нем знакомо. Так — не только с музыкой, но и с жизнью. Возникает самая страшная вещь, болезнь, съедающая все, — "вообщевизм". Если слушать вполуха, не всем своим существом, если и исполнять — не всем существом, то это, скажем, Шопен вообще, пусть даже и играемый виртуозно, тонко, изумительно. И наша жизнь вообще — то есть такая, как всегда, пусть даже добросовестно нами проживаемая. И нет самого главного — единственности, удивленного узнавания, встречи с Шопеном или с собственной жизнью. Я вдруг услышал, как паразитично индивидуально Рихтер интонирует каждую нотку, каждый пассаж. Как он через музыку транслирует некое минутное (проходящее, исчезающее, живое лишь сейчас) состояние (композитора — и свое собственное). Я чувствую нерв, неровный ритм. Все, кто играют "правильно" (и "правильно живут"), стараются, чтобы все было "симметрично", в такт, в тон. А жизнь выражает себя через малейшие "неправильности", асимметрию, отклонения темпа, неровный ритм дыхания. Но ведь нельзя же "играть неправильно"! Только гениальный музыкант может позволить себе это "чуть-чуть" заметное нарушение правильности, общей нормы, избежав "вообщевизма". И в "чуть-чуть" художника, так сказать, последнем, завершающем аккорде творчества — то же самое: правильно написанному оно придает живое выражение, сиюминутную жизнь. В самом ритме мазков транслируется жизнь человеческого духа. Везде одно и то же!

Я вдруг подумал, что сегодня Рихтеру... не позволили бы так играть. Вот как звонко — слишком звонко, вызывающе звонко — прозвучала эта нотка, даже чуточку дребезжа. А у нас теперь не музыканты командуют парадом, а акустики, звукооператоры! "Председатель акустической комиссии"! И поэтому проклятый "вообщевизм" оборачивается еще и усредненностью. Это даже не стандартизация, а "сведение к общему знаменателю", боязнь чего бы то ни было, выходящего из ряда, резко индивидуального. Лицо искреннего, потрясенного своими переживаниями человека — неприлично, как голая баба среди одетых джентльменов. Тут вот еще какая заковыка: индивидуальное не знаешь как воспринимать! Оно требует от тебя индивидуального же отклика! Напрячься надо, стать хоть на минуту собой — чтоб ответить...

Пусть снизойдет на землю вдохновение. Звук просияет чистый, как стекло, промытое во всевозможных водах. "Ремесленник — и знаю ремесло!" Нуждается ли оно в хвалебных одах? Вот каторга вседневная — рояль, распята жизнь меж черных, белых клавиш. А если что-то про запас оставишь, лишь для себя — то с музыкой едва ли управиться... В пространстве бытовом — прорехи, недоделки, щель зияет... Все станет звездным плотным веществом, все и в душе, и в звуке — просияет! Жизнь в музыке — как соль, растворена. И радости житейские, и горе, шум будничных, ночная тишина — все в соль мажоре или в соль миноре. И вновь — Шопен! Кровь черная из вен, поднявшись к сердцу, снова станет красной. И звук, как звездный свет, — не тронет тлен. И смерти нет. И музыка — прекрасна.



Владимиру Спивакову

Приподнимись на цыпочки, взгляни на небосвод: играет Бог на скрипочке, и звезды — вместо нот. И, может, ты единственный, кто слышит и поймет, откуда звук таинственный, о чем, куда зовет... Ты в этом зале, в вечности, — прокрался, словно вор. Должно быть, по беспечности забылся билетер. Нет жизни тесной, узенькой, — читай весь мир с листа! Преображает музыка и лечит красота. Мы музыкой повязаны, вступив в незримый круг. Что быть не может сказано — уносит в клюве звук. Не зря звучишь ты, мучая, — чтоб ширилась душа. Со всем войти в созвучие, гармонией дыша! Ах, в самом деле, кто же я — всему не враг, а друг? Я, может, скрипка божия

и ввысь взлетевший звук... Бог, поиграв на скрипочке, кладет ее в футляр. Приподнимись на цыпочки, прими безмерный дар.

Слушая Рахманинова

Е. Могилевскому

Одну я признаю на свете власть бесспорнейшую. Власть, чье имя — страсть.

Вращается земной, быть может, шар лишь потому, что есть глубинный жар. Как в мире из металла и стекла живого нам недостает тепла! Жить, вяло будни серые влача? Ах, музыка — ты вправду горяча, ах, музыкант, ты музыке под стать, умеешь быть живым, — чтоб так играть. Какой ты страстью раскаляешь зал, какой на нас нежданный хлынул свет! О, жизнь, — ты, наконец-то, правивши бал. А музыка — лишь твой автопортрет. А музыка — гигантская волна, что с ног сшибает, пробудив от сна. Не та, что ляжет, тихая, к ногам — она захватывает и несет,

и поднимает прямо к облакам энергиею зазвучавших нот. Да, в мире нашем среди всех прорух, средь мрачных мыслей, горестей, утрат — есть пламень и восторг, не сгинул дух, и волны духа в космосе летят. Уже оркестр во всю играет мощь. Как будто дождь в немую жажду роц, — живая влага музыки — к устам. И пианист — оркестру равен сам — по клавишам колотит, черту брат, ведя нас к свету через мрак и ад.

Людмиле Наумовне Гинзбург

**"Я знаю, что Венера — дело рук, ремесленник, — и знаю ремесло!"
Марина Цветаева**

Нет, за роялем вы — не божество, работник — принимаетесь за дело! Не отвлеченных звуков торжество высокое, — а мясо, жилы, тело... (Все, что ударом обнажит мясник!) Простите слишком грубое сравнение, но прежде ремесло — чтоб звук возник!

Редактор Евгений ГОЛУБОВСКИЙ.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за точность сообщаемых фактов несут авторы. Взгляды редакции не всегда совпадают с точкой зрения авторов.

Дизайн и компьютерная верстка: компьютерный центр ТИА "Вікна-Одеса" (тел. +38 067 48 03 705).

Регистрационное свидетельство N 508. Тираж 1000. Заказ N 88. Газета отпечатана в ИПП "Печатный дом".

Адрес редакции: 65014, Одесса, ул. Маразлиевская, 7. Тел. 725-45-67, 725-53-68 www.odessitclub.org.